Списанные

Автор:
Дмитрий Быков

Списанные

Дмитрий Львович Быков

Быков.Всё

Жизнь московского сценариста Свиридова больше ему не принадлежит: с тех пор как он оказался в загадочном списке, назначение которого известно лишь спецслужбам, любой его шаг отслеживается. Что это – социальный эксперимент или новая реальность, в которой нужно учиться жить? И как справиться с липким страхом, пропитывающим отныне весь быт? Всё о добропорядочных гражданах в экстремальных ситуациях – в романе Дмитрия Быкова «Списанные».

Дмитрий Львович Быков

Списанные

© Быков Д.Л.

© ООО «Издательство АСТ»

* * *

Все экспериментально-философские фэнтези N построены по инвариантной схеме. На протяжении романа развивается владеющая героем сверхценная идея. Читатель внутренне спорит с ней, но по ходу сюжета она набирает силу, и

читатель готов то ли поверить в нее, то ли объявить роман полным бредом, когда в последний момент автор вдруг отмежевывается от этой идеи и сваливает всю ответственность на одержимого ею героя.

Александр Жолковский

Так-то въяве и выглядит все это —

Язвы, струпья, лохмотья и каменья,

Знак избранья, особая примета,

Страшный след твоего прикосновенья.

Так что лучше тебе меня не трогать,

Право, лучше тебе меня не трогать.

Дмитрий Быков

Глупец! Пойми – ты живешь и дышишь, пока я на тебя смотрю. Ведь ты только потому и есть ты, что это я к тебе обращаюсь.

Абрам Терц. «Ты и я»

Писать про то, что есть, трудней, чем про то, что было или будет и чего никто не видел. Упрек в журнализме – самое легкое последствие. Но если не работать с реальностью, она такой и останется. Бо?льшая часть романа придумана и написана в Артеке, в гостинице «Адалары», персоналу которой автор, пользуясь случаем, свидетельствует любовь и благодарность.

Дмитрий Быков

Часть первая

Перечень причин

1

Во Внукове сценариста Сергея Свиридова, вылетавшего в Крым на детский кинофестиваль с картиной «Маленькое чудо», задержали на границе.

Свиридов поздоровался с добродушной блондинистой пограничницей, протянул ей загранпаспорт (можно было лететь с российским, но Свиридову нравилось думать, что он представляет работу за границей) и приготовился ждать. Обычно процедура занимала не более минуты. Блондинка, однако, вгляделась в документ, сверилась с увесистым талмудом, потом с двумя списками в полиэтиленовых папках, потом куда-то позвонила и зачитала свиридовские данные. Свиридова испугало не это, а взгляд, которым она уперлась в него после этих процедур. Обычно в случае непредвиденной задержки – мало ли, фамилия совпала с подозрительной – погранцы смотрели виновато: свои люди, формальность. Теперь же на Свиридова смотрели с выражением, слишком ему знакомым по генетической памяти: «Будем признаваться или дальше обманывать органы?»

– Что-нибудь не так? – с отвратительной заискивающей интонацией спросил Свиридов.

– Вам всё скажут, – ответила пограничница, чье добродушие мигом испарилось. Свиридов хорошо знал, как это бывает. На таких должностях добрых не держат, да они и не пойдут.

– Но в чем дело? – все еще мирно спросил он. – Документ неправильный?

– Отойдите в сторону и ждите, – сказала она уже с раздражением. – Через пять минут перезвонят, и пройдете.

– А кто вам должен перезвонить?

– Не мешайте проходу! – прикрикнула она.

Свиридов шагнул в сторону, пропуская потную мамашу с вялым мальчиком лет трех. Беспомощно распяленный паспорт сценариста остался лежать перед пограничницей. Ясно было, что Свиридов уже никуда не денется, так и будет стоять в сторонке. Он был привязан за паспорт. Слава богу, он один летел от группы: издевательствам не было бы конца. «А я всегда знал, что Серый неблагонадежен. У него в пузе наркотики, девушка, проверьте пузо!». Мимо прошел кинокритик Лосев, неприятный человек с энтевешным прошлым. Вел на старом НТВ информационную кинопрограмму «Куда пойти», над названием которой сам без устали каламбурил. Тип был скользкий – из тех, что всегда ругают власть, но им ничего за это не бывает. После разгона он спокойно устроился на ТВЦ, но так и ходил в ореоле гонимого.

– Что, Сережа, – сказал он сочувственно, – за границу не пускают?

– Да вот, – не желая откровенничать, неопределенно ответил Свиридов.

– Девушка, вы его что, не знаете? – спросил Лосев пограничницу. – Благонадежнейший малый, сценарист сериала «Погибель Отечества». Не смотрели?

– Проходите, – нелюбезно сказала пограничница Лосеву, с силой проштамповывая его паспорт, пухлый от вклеенных виз. Лосев не вылезал с международных фестивалей, эстет гребаный.

– Ну давай, – с тайным торжеством произнес Лосев, помахал Свиридову и прошел мимо.

Прошли еще двое, один задел Свиридова тяжелым чемоданом – конечно, теперь можно…

– Девушка, – робко напомнил о себе Свиридов, – у меня вылет через полчаса. Сейчас посадка закончится.

– Надо пораньше приходить, – предсказуемо ответила пограничница, не глядя на него.

– Но могу я узнать, в чем дело?! – возмутился Свиридов.

– Всё скажут, – повторила она.

– Я что, вообще могу не вылететь?

– Можете, – спокойно ответила она. – Я здесь для того и сижу.

– Для чего?

– Для контроля. Отойдите с прохода, гражданин.

Вот как, уже и гражданин. Свиридов озлился. Страх начал вытесняться раздражением: в конце концов, он не знает за собой ничего такого. Почему он должен отвечать за идиотские сбои в их системе? Ульмана не могут поймать, а сценариста могут!

– Если у меня сорвется вылет на фестиваль, вы ответите лично, – пригрозил он. Пограничница не удостоила его ответом.

– Вы меня слышите? – спросил он.

Она сняла трубку и набрала трехзначный номер.

– Пятый? – сказала она. – У меня человек угрожает. Чего-то, говорит, отвечу. Да, бузит громко. Подойдите, объясните, кто чего ответит. А то он чего-то это. Да. Хорошо.

Она положила трубку и подняла на Свиридова торжествующий взгляд.

– Сейчас вам всё ответят, – сказала она. – Придет майор и всё ответит.

К Свиридову уже направлялся майор неизвестных войск в белой летней форме. Он выскочил, как черт из табакерки, из потайной двери под лестницей – из щели, в которую незаметно проваливаются неблагонадежные; за дверью мог быть обезьянник, камера пыток, что угодно.

– Этот? – сквозь стеклянную стену кабинки спросил он пограничницу, указывая на Свиридова и не удостаивая его обращением. Толстуха радостно кивнула.

– Пройдите, – сказал майор, показывая на дверь.

– Но почему, собственно…

– Мне наряд вызвать? – скучно спросил майор. Свиридов понял, что шутки кончились. Он пожал плечами и пошел за майором в незаметную дверь.

Там не было ничего ужасного – служебное помещение, стул, стол, диванчик. О камере пыток напоминал только стандартный мутный графин с желтой, явно железного вкуса водой. Только такой и освежаются палачи – другая не восстанавливает палаческие силы.

– Присаживайтесь, – сказал майор, сам уселся за столик и вернулся к разгадыванию кроссворда в газете «Зятёк».

– Могу я узнать, в чем моя проблема? – после минутной паузы спросил Свиридов. Вот-вот должны были объявить посадку.

Майор поднял на него белесые глаза и некоторое время смотрел молча, исподлобья, ожидая, что жертва не выдержит гипноза, устыдится, опустит очи долу и погрузится в раскаяние. Но Свиридов смотрел прямо, с вызовом, и майор вынужден был нарушить молчание.

– Вам объяснят.

– Кто объяснит?

– Касающиеся люди.

– Понимаете, я должен вылететь сегодня…

– Мы понимаем, что вы должны. Мы должны, и вы должны. Происходит проверка. По результатам проверки вы или вылетите, или… – Майор сделал паузу, Свиридов замер. – Или не вылетите.

Свиридов и раньше догадывался, что эти люди имеют над его планами куда большую власть, чем он сам. Никакие перетряски и переименования не могли лишить эту службу, мгновенно опознаваемую по интонациям, даже толики прав. Майор продолжил штурм кроссворда. Минут через пять он снова поднял на Свиридова белесоватые глаза и спросил:

– Русский советский писатель, автор повести «Обмен». Восемь букв.

– Трифонов, – услужливо ответил Свиридов. Майор кивнул, словно вопрос был частью проверки. Странно, подумал Свиридов. Может, он дает мне понять, что не считает врагом? Станут они у врага спрашивать, кто автор повести «Обмен». Враг наверняка введет в заблуждение. Но, может, то, что я читал Трифонова, само по себе криминал? Может, это специальный чекистский тестовый кроссворд? Взрывчатое вещество из восьми букв, первая «г». Гексоген. Пройдемте. Голова продолжала плодить сюжеты даже в теперешних мутных обстоятельствах. Из подозрительных людей тревожно-мнительного склада получаются наилучшие сценаристы – они вечно озабочены сценариями воображаемых козней, которые против них плетутся.

Тут у майора на столе зазвонил телефон, и разгадывание тест-кроссворда прервалось надолго. Майор чертил на газете сложные зигзаги, слушал равнодушно, иногда кивал.

– Ага, – сказал он. – Добро. Ага. Нет, здесь. Спокойно. Да нет, непохоже. Хорошо. Понятно. Зеленый. Нет, вчера. С запада. Сорок семь. Четырнадцать. Ага. Добро. Ага.

Само собой, Свиридов прислушивался ко всем этим репликам с особым вниманием, надеясь уловить в них разгадку своей судьбы, но ни цвета, ни цифры, ни стороны света не имели к нему никакого отношения. «Ага, шпион с Запада, на вид сорок семь, от страха зеленый, сумка весит четырнадцать, ага, везет добро, ага», – машинально реконструировал он, поражаясь собственному спокойствию. Ужас положения еще не дошел до него по-настоящему.

– Можете лететь, – лениво сказал майор, положив трубку, но все еще глядя на Свиридова, словно удерживая его взглядом. Вероятно, он ждал вопроса.

– А что это было? – спросил Свиридов.

– Плановая проверка, – сказал майор.

– По какой линии?

– По нашей, – с вызовом ответил майор. Видимо, теперь Свиридову можно было знать об этом.

– И что выяснилось?

– Что всё в порядке, – отводя глаза, сказал майор. Всё явно было не в порядке, и он хотел оставить в теле жертвы отравленную иглу. Загноившаяся жертва будет вкуснее.

– А конкретно? – настаивал Свиридов. Он знал, что такие ситуации надо выскребать, дочерпывать до конца, как выскребают рану: малейшая двусмысленность могла отравить все, дать корни, побеги, превратиться в целую историю с задержанием.

– А конкретнее, – с тем же вызовом ответил майор, – вы в списке. Поэтому подлежите дополнительной проверке.

– В каком списке? – не понял Свиридов.

– Это уж я вам не могу сказать. Это сверх полномочий. Идите, самолет улетит.

Свиридов встал, подхватил чемодан с ноутбуком и побежал к будочке пограничницы. Его паспорт по-прежнему лежал перед ней, и она его уже штамповала.

– Ну? – сказала она с прежним добродушием. – И чего было буянить?

– Я не буянил, – сказал Свиридов. Здесь тоже было важно отмести ложные формулы, иначе где-то глубоко в его досье, которое наверняка ведет какая-нибудь белоформенная инстанция, так и останется запись: буянил в аэропорту. А это подозрительно, особенно если буянил стрезва. – Вы, пожалуйста, слова

выбирайте.

Пограничница молчала. Такие мелкие уколы ее не трогали. Она протянула ему проштампованный паспорт.

– А в каком я списке, можно узнать? – менее уверенно, чем хотелось бы, выговорил Свиридов.

– Вы опять, гражданин? – спросила пухлая уже грозно и взялась за телефонную трубку, но Свиридов не стал ждать второго появления майора и стремглав проскользнул на ничейную землю. До конца посадки оставалось четверть часа.

Как все нервные люди, он испытывал потребность немедленно поделиться своей странной бедой и выслушать утешение, но из знакомцев на фестиваль летел один Лосев, а с этим человеком Свиридов не склонен был делиться чем бы то ни было. На свое счастье, он обнаружил в хвосте ЯКа толстого оператора Горного, с которым познакомился еще во ВГИКе, но общался редко. Горный был человек медлительный, задумчивый, крепкий ремесленник, не более, но сейчас именно такой спокойный малый был нужен Свиридову, чтобы рядом с его непрошибаемым спокойствием прийти в себя.

– Ты представляешь, Горный, – сказал Свиридов, – меня чуть на границе не задержали.

Горный медленно повернулся к нему.

– А чего?

– Да говорят, я в каком-то списке. Ты не знаешь, что за список?

– На границе?

– Ну.

– А ты не попадал раньше? Вез там чего-нибудь…

– Да я на Украине не был с пятого класса, когда меня мать в Крым возила.

– Ну, не в Крым… Еще куда-то…

– Нет, не попадал.

– Ну не знаю. – Тормоз Горный был из тех, в чьей медлительности и немногословии окружающие часто угадывают бездны, Свиридов сам слышал, как восторженная девочка курсом младше распиналась в общаге: «Леша – очень, очень правильный человек!»; но на деле, как и у большинства туго соображающих и молчаливых увальней, за душой у него не было ровно ничего. Искать у него сочувствия было не перспективнее, чем исповедоваться шкафу.

– А ты не слыхал, чего за списки?

– Не знаю, – повторил Горный.

Свиридов отвернулся и стал перебирать в уме свои прошлые грехи. От этого занятия его отвлек взлет. Свиридов терпеть не мог летать, от любой турбулентной болтанки бледнел и хватался за подлокотники. ЯК долго пробивал облачный слой, его мотало, на время мысли о списке вытеснились более ощутимой опасностью. Но на земле, в дождливом Симферополе, особенно неожиданном после знойной распаренной Москвы, на Свиридова напал настоящий ужас: что я такого сделал? Была, впрочем, надежда, что хоть на украинской границе его пропустят сразу, – но и тут долго сверялись с пластиковым талмудом, а потом молоденький пограничник выбрался из кабинки и под ропот очереди куда-то ушел со свиридовским паспортом.

– Ишь, – сказал Лосев из-за красной черты. Он стоял за Свиридовым и, кажется, ничуть не огорчился задержке. – Серьезных дел натворил Сережа. Мало что из России не выпускают, но и в Хохланд не берут.

Про Хохланд он говорил нарочито громко, бравируя пренебрежением к оранжевой загранице, и соседняя очередь, состоявшая из граждан Украины, одобрительно заулыбалась. Лосеву все сходило с рук. Свиридов принужденно хихикнул. Все это, однако, переставало забавлять его.

Пограничник вернулся минут через десять.

– А у вас при пересечении российской границы не было проблем? – спросил он сочувственно, как и полагается функционеру свободного государства обращаться к гражданину тоталитарного.

– Мне сказали, что я в списке, – ответил Свиридов.

– Сказали? – недоверчиво переспросил молодой.

– Да, а что?

– Просто не говорят обычно. Но вы – да, в списке.

– А что за список-то? Мне не объяснили.

– А мы не знаем, – просто ответил пограничник. – Нам выслали, а что за список – не сказали. Просто надо фиксировать всех, кто из списка прибыл.

– Где фиксировать?

– В журнале. Проходите, мы и так задержали…

Ничего уже не понимая, Свиридов вышел на площадь перед аэропортом, где переминался Горный. Следом появился Лосев. Их тут же окружили таксисты, но Горный уже отыскал встречающего – за ними прислали «газель». Большая часть гостей приехала еще вчера поездом, но несколько человек задержались в Москве по делам и прибыли самолетом; премьера «Маленького чуда» планировалась на завтра.

Настоящим довожу, что СВИРИДОВ С.В. при дополнительной проверке на границе проявил нервность, недовольство, неделикатность, неучтивость, граничащую с грубостью, но сопротивления не оказал. Пропустил женщину с ребенком, отойдя в сторону, но не ответил на улыбку малыша. На допросе по системе «Кроссворд» показал на ТРИФОНОВА Ю.В. (справка прилагается). Задал 6 (шесть) вопросов о причинах проверки и вероятных последствиях. По окончании проверки двигался ускоренно.

По сути заданного мне вопроса могу показать, что СВИРИДОВ С.В. в самолете немедленно разгласил факт своего нахождения в списке и отнесся к нему отрицательно, без благодарности и доверия, но оскорбительных высказываний не допускал. В полете явления турбулентности не вызвали физиологических реакций СВИРИДОВА С.В. На украинской границе СВИРИДОВ С.В. замечаний не имел.

2

Первые крымские дни утихомирили тревогу и заставили забыть о проклятом списке, но чем ближе было возвращение, тем больше Свиридов нервничал. У него появилась даже крамольная мысль остаться в Хохланде, но это, конечно, была бы та еще эмиграция. Да и выдавали по первому требованию.

Поначалу он не лазил в интернет, не читал газет, спал на балконе маленькой гостиницы, прилепившейся к сухому кипарисовому склону, пил густое горько-сладкое вино, закусывал копченым сыром и старался превратиться в растение. Следовало всеми порами тела впитывать блаженный воздух, настоянный на кипарисе и сосне, купаться, есть здоровую простую еду и никуда не спешить. Вскоре оказалось, что отдохнул не только сам Свиридов, но и его тревога, на четвертый день принявшаяся глодать душу со свежими силами. Проснувшись, он тотчас вспомнил о занозе, засевшей в сознании, и замычал от тоски. Никакие кипарисы, никакой отдаленный прибой уже не спасали. Свиридов был в списке, и по возвращении это могло грозить непредсказуемыми неприятностями.

Вдобавок надо было мотаться по лагерю, где проходил фестиваль, то на одной, то на другой площадке показывая «Маленькое чудо» – отвратительную поделку о юной балерине. Честно сказать, сценарий и сам был банальной халтурой, написанной для конкурса детских лент и взявшей второе место при полном отсутствии конкуренции: мастер свиридовского курса, член жюри, поведал по секрету, что все представленные работы были либо о школах чародейства и волшебства, либо о родных Микулах Селяниновичах; первый приз достался безвестному доселе графоману за гигантский, страниц на двести, сценарий о молодежном лагере «Своих», в котором перековывался очередной интеллигентский отпрыск. Микулы Селяниновичи были выполнены совсем уж

топорно. Третье место взяла история о юном партизане, писанная еще к шестидесятилетию Победы, но тогда отклоненная за профнепригодностью; теперь представления о профпригодности заметно смягчились, а идеологические рамки, напротив, ужесточились, как и положено. Свиридов написал со слов бывшей возлюбленной историю о страшноватых нравах балетного училища, о том, как стремительно взрослеет девочка, проходящая через муштру, и о разладе в ее семье, который она умудряется преодолеть, поскольку обладает большей выдержкой, чем легкомысленный отец и плаксивая мать вместе взятые.

История называлась «Танец маленьких лебедей», но режиссер переименовал. Это было, кажется, его единственное решение – все остальное на площадке и после решала продюсерша, она же исполнительница роли импульсивной матери. Она подыскивала роль для своего ребенка-вундеркинда – и свиридовская история подошла ей идеально. У нее подрастала дочь одиннадцати лет, еще от первого брака; во втором продюсерша, сыгравшая в девяностых пару голых ролей в бандитских боевиках, соединилась с газовым магнатом, вылитым героем тех самых боевиков. Из него и были выкачаны деньги на промоушен ребенка. Девочка Настя к одиннадцати годам была законченным монстром, от которого стонала вся группа. Ее привозили на съемки с многочасовыми опозданиями – «драмкружок, кружок по фото»; помимо балета, девочка занималась двумя языками и проходила курс в школе душевной гармонии, где изучались астрология, агни-йога и альтернативная история. Голова ее, и от природы не особенно крепкая, трещала от разнообразной ерунды, Настя ни в чем не знала отказа и не имела даже смутного представления о реальности. Мир представлялся ей гигантским гибридом балетной школы и супермаркета, где в первой половине дня истязают ее, а во второй она отыгрывается на родне и челяди. Поправив пару реплик в сценарии, она стала называть себя сценаристом; однажды пожелала вытащить на съемки подругу, дабы продемонстрировать всю свою звездность, и великодушно попросила написать роль и для подруги – магнат-газовик сверкнул очами на Свиридова, и у маленького чуда появилась подруга со словами. Мама-продюсер выдвигала свои требования, вовсе уже ни с чем не сообразные: она вбила себе в голову, что картина поедет на международные фестивали, и потому в ней обязательно должно быть что-нибудь о мире во всем мире. Вы не представляете, в какое тревожное время мы живем! Иногда Свиридову казалось, что она его соблазняет – дама в бальзаковских годах, магнат занят газом, хочется проверить чары на молодом авторе; но скоро он понял, что в очередной раз переоценил себя. Ночные звонки, долгие беседы наедине, многословные, с абсурднейшими мотивировками требования выкинуть то и подчеркнуть это – все диктовалось

серьезнейшим отношением продюсерши к «Маленькому чуду»: больше ей решительно нечем было заняться. Настя к концу съемок окончательно возомнила себя звездой, перестала считаться с мольбами режиссера, вела себя в кадре как хотела, а текст импровизировала, начисто забыв о сценарии, к вящему умилению мамаши. В ней появилась капризность пожилой премьерши, она закатывала внезапные истерики – словом, поехала крышей; даже магнат заподозрил неладное и попросил съемки сократить, так что в итоге пожертвовали последними двумя сценами, которые могли придать получившейся лаже хоть какой-то смысл. Премьеру устроили в «Художественном» – «Октября» магнат не потянул, – и Настя потребовала объявить ее как юную актрису, юного режиссера и юную сценаристку. Свиридов не видел этого позора – он на премьеру не явился. Даже сценарий сериала «Спецназ своих не бросает» казался ему менее постыдным. Ни на один заграничный фестиваль, естественно, чудо не попало – магнат сумел продавить его только на крымский, проходивший в бывшем пионерлагере, да и то, кажется, отстегнул на его проведение; режиссер наотрез отказался представлять шедевр, сославшись на занятость новым проектом – историей о гибели десантной роты (тогда каждый месяц гробили по десантной роте, в неотличимых горах, с дословно совпадавшими диалогами). Само чудо лечили на швейцарском курорте – оно теперь бузило и вне площадки, требовало новых ролей и плохо ело; мать находилась при Насте неотлучно, и представлять поделку отправили Свиридова. Он плюнул и согласился – неделя в Крыму на халяву выглядела приличной компенсацией за мучения с чудом.

Дети в бывшем лагере, а ныне международном молодежном центре, оказались безнадежно провинциальными и смотрели всё с одинаковым удовольствием. Их радость при виде движущихся больших картинок была чисто физиологической, а если с экрана раздавалось знакомое слово вроде «жести», весь бетонный амфитеатр взрывался аплодисментами. По-настоящему их не занимало ничего, кроме компьютерных игр и дискотек, ко всему остальному они были добродушно-равнодушны, покорно задавали вопросы после каждого просмотра – одинаковые из раза в раз, о смешных случаях на съемках и о том, почему Свиридов выбрал профессию сценариста. На третьем просмотре Свиридову надоело соблюдать политкорректность, и на вопрос о смешных случаях на съемках он сымпровизировал целую историю о том, как девочка Настя, доставшая всех в первую же неделю работы, случайно встретила на площадке медведя и обкакалась. Свиридов подробно обосновал появление медведя на съемках – это был ручной медведь из картины, снимавшейся в соседнем павильоне, он свободно бродил по студии, и вот пожалуйста. Дети заметно оживились.

– Что, прямо медведь?

– Ну, медвежонок.

– Что, прямо обкакалась?

– Прямо в штаны.

Гоготали даже вожатые. История пошла гулять по лагерю. Дети потребовали дополнительного просмотра, его организовали на стадионе, всем было интересно посмотреть на девочку, которая танцевала-танцевала, пищала какие-то глупости, много о себе воображала и вдруг обкакалась в штаны. Свиридов почувствовал смутные угрызения совести – опорочил несчастного ребенка, желавшего служить искусству, унизил его в угоду грубым провинциальным вкусам, – но Настя была уж очень омерзительна, да и «Маленькое чудо» в результате получило приз зрительских симпатий, обойдя даже немецкий шедевр «Тайна животноводческой фермы». О решении жюри Свиридову сообщила начальница пресс-центра, женщина из советских времен, чудом сохранившаяся в Крыму, где вообще умудряется уцелеть, зацепившись за обрыв берега, все реликтовое. Лагерь успел пройти через эпоху упадка в девяностые и теперь восстанавливался, но не набирал новую славу, а собирал по крупице старую, изрядно поблекшую еще до перестройки. Вся реставрация – что в России, что в Украине – осуществлялась по одному сценарию: попробовали жить иначе, не вышло, построим старое, – но строить собирались новые люди, проще и площе прежних, полузабывшие тогдашнюю жизнь или вовсе ее не знавшие. Результат получался соответствующий – совок, лишенный всего, что делало его переносимым. Начальница пресс-центра была наилучшим выражением этой тенденции.

– Ну, мы поздравляем вас, конечно, – сказала она, улыбаясь наклеенной улыбкой. – Мы, конечно, очень рады за вас и ваш замечательный фильм, добрый фильм.

– Спасибо, – кисло ответил Свиридов.

– Очень мудрый фильм, – говорила она, словно не решаясь приступить к главному. – Дети даже особо отметили в анкетах, что очень мудрый фильм.

Свиридов кивал.

– И мы приглашаем вас на торжественную церемонию закрытия, – продолжала начальница пресс-центра. – Но мы вам не рекомендуем на нее ходить.

Некоторое время Свиридов осмысливал услышанное.

– То есть? – спросил он наконец.

– Ну, – сказала она, улыбаясь все шире; выражение ее лица можно было бы счесть кокетливым, если бы такие женщины могли кокетничать вообще, – мы получили о вас определенную информацию.

Свиридов похолодел.

– Откуда? – спросил он, не уточняя, что за информация: все было ясно.

– Нас известили с таможни, – сказала начальница пресс-центра, явно гордясь связями с таможней. – Нам дали знать. И мы бы со своей стороны вам не рекомендовали. Вот ваше приглашение, я вам обязана отдать по долгу службы, – «по долгу службы» она выговорила с особым наслаждением; такие люди любят тщательно, красуясь, выговаривать всякие литературные реплики, вроде «мы не считаем возможным» или «дорогой вы наш человек». – Но я вас просила бы, а где-то даже и советовала бы.

Она улыбнулась и тряхнула волосами, что должно было обозначать задор. Наверное, когда-то она была здесь вожатой. Теперь ей было сорок пять.

– И что? – спросил Свиридов. – Вы будете объявлять, награждать картину, а я сидеть в номере? Приз кто получит?

– Мы вам передадим дополнительно ваш призочек, – быстро заговорила пресс-секретарша. Она была готова к этому вопросу. – Вы завтра зайдете в управление, и мы передадим призочек и грамотку. Вы можете быть уверены, что никто здесь не заберет вашу заслуженную награду.

– Но почему я не могу присутствовать на собственном награждении? – прямо спросил Свиридов, чувствуя, что еще немного – и он наговорит ей таких слов, каких сценаристы доброй и мудрой картины не должны употреблять в принципе.

– Мы работаем в детском учреждении, – все еще улыбаясь, отвечала она. – Мы должны ограничивать, огораживать детей от эксцессов. Нам довели информацию, что ваше присутствие может быть нежелательно. Лучше перебдеть, чем недобдеть, не так ли? – Реплика «не так ли?» тоже казалась ей очень кинематографичной. – Я не буду вас больше задерживать, я ничего не могу вам запретить, но хочу предупредить. Мне было очень приятно поздравить вас с заслуженным успехом.

И, еще раз тряхнув крашеными волосами, она быстро пошла прочь; один раз оглянулась и помахала, как машет возлюбленная, уходя навсегда, в дурном шестидесятническом фильме про девушку, не знающую, чего она хочет. Свиридов плюнул ей вслед и решил во что бы то ни стало отправиться на закрытие.

Церемония не обманула его ожиданий. Она была по преимуществу украинской, трехчасовой и очень громкой. Кое о чем Свиридов имел понятие, поскольку гостиница стояла недалеко от стадиона, на котором фестиваль закрывался, – последние три дня репетиции шли беспрерывно, с подъема до отбоя, отголоски долетали до пляжа, и даже заплывая на полкилометра в море, Свиридов слышал натужно-звонкие голоса, хором уверявшие, что ничего на свете лучше нету. Он успел выучить и хит про море бескрайнее, и вальс о невыносимости расставания с дружной сменой; впрочем, советских песен было мало – преобладали гопаки с их фирменным сочетанием роскошной лени и необъяснимой агрессии, столь узнаваемым во всем, что бы тут ни делалось, от Майдана до Рады. Свиридов понимал, что в гопаках нет ничего дурного и дети счастливы, изображая разнузданную казачью лихость, – но он был озлоблен, уязвлен, и мир представлялся ему царством гнета и лицемерия. Добрые, чистые слова о добром, чистом детстве произносил толстомясый представитель Республики Крым, ему вторил третий замминистра культуры, поджарый, европейский донельзя – все портил суржик, на котором он говорил за незнанием мовы; начальство молодежного центра ловило его речь с подобострастием, много превышавшим советское. О свете и радости было сказано и спето столько, что детство начинало представляться Свиридову царством лжи и насилия – каким оно, собственно, и было; да и что вообще было в его жизни, кроме школьного ада, семейного полураспада, студенческой нищеты и последующей безработицы?

Несчастье всему придает свой ракурс, а счастье – никогда, в этом главная несправедливость. Первый приз взяла лента «Байкер и Ангел» про страшного байкера, влюбившегося в шестнадцатилетнюю инвалидку-колясочницу. Он открыл ей новую жизнь, катал на мотоцикле, хитро привязав к седлу позади себя, и учил целоваться в рассветном березняке (Свиридов гнусно хихикнул, вспомнив анекдот про Ржевского и безножку – «Некоторые так на березе и оставляют»); другие байкеры насмехались, он дрался, но потом прислушался к голосу коллектива – «Что это? Уж не обабился ли я?» – и на глазах хрупкой колясочницы аппетитно, жирно поцеловался с распутной девкой из соседнего класса. Потрясенный Ангел наелся таблеток и отлетел. Это заставило байкера глубоко задуматься и где-то даже пересмотреть свои ценности. Под свежим впечатлением он долго ехал по рассветной дороге под тяжелую инструментальную музыку, после чего являлся добровольным помощником в интернат для колясочников – и Свиридов не мог не вообразить, коря себя за цинизм, как он теперь, в порядке искупления вины, оприходует всех их по очереди. Эта туфта была значительно хуже «Маленького чуда» – хотя бы потому, что делалась на полном серьезе, с надрывом; за картину проголосовал весь лагерь, от мала до велика, немедленно опознав родную стилистику девичьих рассказов о любви и смерти. Режиссера Свиридов не знал – «Байкера» сочинил и поставил бывший рекламщик из Барнаула, длинноволосый, гориллоподобный, сам, кажется, из байкеров. Получив приз – золотые часы в виде солнышка на гранитной подставке, – он поставил его на эстраду и сделал обратное сальто. Стадион взревел.

Следующим должны были награждать Свиридова, и он уже прикидывал, что скажет, – что-нибудь о том, какие они все уже взрослые, так что и говорить с ними надо без сюсюканья и вранья, пока у него не очень получается, но он обещает, – но сразу после объявления «Маленького чуда» самым мудрым фильмом фестиваля на сцену выпорхнула руководительница пресс-центра, приняла солнышко из рук третьего зама и обворожительно улыбнулась залу, сообщая, что представители группы, к сожалению, на церемонию прибыть не смогли. Свиридов вскочил с места, замахал, заорал – но его крик был тотчас заглушен очередным гопаком, и по эстраде вприсядку заметались парубки в красном. На него оглядывались, он не желал больше слушать народную музыку и в бешенстве, нарочно наступая на ноги и толкаясь, устремился к выходу. Он долго еще блуждал по запущенной, заросшей территории лагеря, отыскивая спуск от стадиона к гостинице: сюда-то везли на автобусах, но ждать обратного автобуса он не желал. В гостиницу тоже не хотелось. Поплутав в кромешной крымской ночи, запутавшись в колючем кусте и порвав брюки, Свиридов вышел наконец на тропинку, петлявшую между пустыми спальными корпусами: она

должна была привести к гостинице, – но спать не хотелось. Он решил выкупаться.

На всем многокилометровом галечном пляже, разделенном бетонными бунами, не было ни души. Море слабо поплескивало. В последние три дня был шторм, но сегодня стихло. По всему берегу валялись клубки высыхающих темно-коричневых водорослей, он называл их перекати-море. От них пахло гнилью и свежестью, свежей гнилью – нигде больше Свиридов не встречал этого сочетания и не мог подобрать для него других слов. Луна то выплывала из облаков, превращая вид в итальянский пейзаж Щедрина, то исчезала, и море сливалось с небом в одно антрацитное пространство. Наконец она вышла надолго, золотистая дорожка протянулась от горизонта к ногам Свиридова, он разделся и, хлопая себя по плечам, вошел в неожиданно теплую воду. Холод начинался дальше – шторм поднял холодные донные слои, тепло оставалось у самой поверхности; но холод бодрил, и Свиридов несколько раз с наслаждением нырнул. С берега все еще доносились клятвы сохранить дружбу и память о кострах, странно сочетавшиеся с этим безлюдным берегом без единого фонаря, с золотой луной, полновластно сиявшей над горизонтом, с мелкими плоскими тучками вокруг нее, россыпью мелких звезд и бархатно-черными лесистыми скалами слева. Здесь «Маленькое чудо», байкеры, ангелы, гопаки и списки не имели никакого значения. Свиридов долго плыл, привыкнув к воде, ощущая ее не сильней, чем воздух при ходьбе, – но, оглядываясь, видел, что берег почти не удалился: все та же освещенная чаша стадиона высоко на горе, те же темные корпуса и еле белеющая пенная полоска у волнолома. Зря он вспомнил о списке – хотя бы и для того, чтобы подумать о всей незначительности этой истории; ерунда ерундой, но послезавтра в Москву, тоже мне радость. Небось опять задержат при отправке и уж точно на российской границе. Свиридов в тысячный раз принялся перебирать свои грехи. В том и дело, что сегодня уже не знаешь, в чем можешь быть виноват. Никаких правил: самое поганое время, когда все еще только сгущается. Что-то можешь определить сам, личные рамки дозволенного… но решать надо быстро, завтра все отвердеет. Это было хуже, чем прямая угроза: сейчас опасность смотрела отовсюду, никто не знал, как себя вести. Под удар с равной вероятностью могли попасть и те, кто нарывался, и те, кто потирал ручки, приговаривая «давно пора». Критерий был неясен и определялся по прецеденту. Самое досадное, что все развивалось давно уже не по логическим или даже сценарным законам, а по прихоти чистой статистики: нам надо выдавить вон столько-то народу, посадить столько-то, отнять работу у стольких-то. Дураками были все, кто спрашивал «За что?» и пытался отыскать закономерности. Закономерность была одна: количественная. Не туда шел, не там стоял. Все это Свиридов лихорадочно передумывал, чтобы сбежать от

самого мерзкого ощущения, придавившего его жизнь задолго до треклятого списка: есть люди неправильные, изначально обреченные если не на заклание, то на пожизненный бег с препятствиями, лягушачье перепрыгиванье с листка на листок, как в древней компьютерной игре «Перестройка». Он был из таких, это было родовое проклятие, родимое пятно, его видели все, начиная с одноклассников, и зря он пытался себе внушить, что во всем виноват талант. Талант ничуть не реже осеняет здоровых, жизнерадостных, охочих до любой работы. Он был в списке с самого рождения, вот в чем беда; теперь это вышло наружу, только и всего. Гнусная мысль пришла одновременно с волной, Свиридову плеснуло в нос, он терпеть этого не мог – и только тут заметил, что море уже не так спокойно, как прежде.

Длинные черные волны в дробящемся блеске шли на него фронтом, он давно вышел из-под защиты левого скалистого мыса, теперь все море было в параллельных глубоких морщинах, они с каждой новой волной становились глубже, и Свиридову уже померещились вдали смутно мерцающие пузырчатые гребешки – дело серьезное. Он понимал, что пора разворачиваться к берегу, но плыл и плыл вперед, словно должен был достигнуть некоей точки; наконец ему стало по-настоящему страшно, он быстро развернулся – и только тут заметил, что отплыл на добрый километр. Музыка кончилась. По извилистым дорожкам молодежного центра ползли пятна фар – автобусы развозили детей, наверняка усталых и сонных; все это было очень далеко, он нипочем не докричался бы, да и кто ночью пойдет на берег? Правда, теперь волны подгоняли его в спину – но они же и перекатывались через голову, так что он стал задыхаться. Он знал по опыту – далеко заплывал с детства, – что ни в коем случае нельзя паниковать, что угодно, но не паника, в крайнем случае можно полежать на спине, передохнуть, переждать вспышку ужаса; но какое тут лежать – его накрыло первой же волной. Это началось, как только он подумал о списке, – надо о чем-то другом, о чем попало, и он стал представлять, как полетит в Москву, выйдет на работу, увидится с Алей, может быть, уговорит наконец съехаться… Из темного жидкого ужаса, облепившего его, как мокрая ткань, список представлялся уютным, почти спасительным, как всякое дело рук человеческих среди неразумной стихии.

Берег не приближался. Свиридов беспомощно бултыхался с волны на волну – он все еще не позволял себе работать ногами в полную силу, боялся выдохнуться. Стоп. С чего, собственно, я взял, что шторм? Волна если и увеличилась, то самую малость. Вон автобусы, вон дети, только что пели про дружную смену. Ничего не может случиться, сроду тут никто не тонул. Ужас постепенно отпускал – вид берега успокаивает, не то что открытое море; я просто выплыл за мыс, нельзя

этого делать ночью. Все о’кей; но тут волна тяжелой лапой шлепнула его по голове, на пару секунд он погрузился, а едва вынырнул – его тут же оглоушила следующая. Дело было худо. Свиридов повернул левей, лег на бок, плыть стало полегче, пару минут он не думал ни о чем, только работал руками и ногами – и когда снова позволил себе оглядеться, берег был уже близко. Метров за триста до него море утихло так же неожиданно, как разбушевалось, и Свиридов уже не поручился бы, что вообще попал в этот странный шторм, продолжавшийся от силы десять минут. Но вкус воды во рту, ощущение холодного тяжелого удара по темени… Он был теперь уязвим, вот в чем дело. Могло случиться что угодно. Выйдя на берег, он долго шатался на дрожащих ногах, искал одежду, спотыкался на гальке. Оделся, хотел закурить, с минуту добывал огонь из зажигалки, наконец добыл, затянулся, закашлялся.

СВИРИДОВУ С.В. согласно распоряжению от 28.06.07 было доведено, что присутствие СВИРИДОВА С.В. на награждении СВИРИДОВА С.В. как сценариста самого доброго и мудрого фильма нежелательно. Вопреки рекомендациям руководства Международного молодежного центра СВИРИДОВ С.В. на награждении СВИРИДОВА С.В. присутствовал, но выход его на сцену как сценариста доброго и мудрого фильма был блокирован своевременными действиями МАНАЕНКО Е.Ф. При проведении мастер-классов с веселыми гостями Международного детского центра СВИРИДОВ С.В. ничего такого не говорил. В целом характеризуется положительно, в общении ровен, алкоголем злоупотреблял умеренно, попытки заплывания за буйки были единичны и недалеко».

Значит, шторм – все-таки не они. Похвально.

3

На обратном пути все пошло на удивление гладко: никто не тормознул – ни в Симферополе, ни в Москве; Свиридов приехал из Внукова в пыльную душную квартиру, распахнул все окна, полил цветы и сел названивать коллегам. Алю он

набрал по мобильному еще в аэропорту, но она была временно недоступна.

– Коль, – сказал он режиссеру «Спецназа» Сазонову. – Фигня случилась. Я на границе, когда в Крым летал, узнал, что я в каком-то списке.

Сазонов молчал.

– Ты слышишь? – повторил Свиридов. – В списке я каком-то!

– Слышу, не глухой, – сказал Сазонов почужевшим голосом. Прежнего снисходительного дружелюбия простыл и след. – Ты Кафельникову говорил?

Кафельников отвечал на канале за производство сериалов. У него были таинственные связи на самом верху.

– Нет.

– Ну и не говори пока. Я разберусь.

– А что за список-то? – пересохшим ртом спросил Свиридов.

– Я откуда знаю? – неискренне удивился Сазонов. – Ты ж попал, не я.

Свиридов понял, что его сторона улицы попала под обстрел и скоро он на этой стороне останется в одиночестве.

– Но, может, ты слыхал…

– Ничего я не слыхал, я знаю только, что сейчас ни в какие списки лучше не попадать. Меньше светишься – крепче спишь.

– Коль, – зло сказал Свиридов. Его бесило, что приятель – не друг, конечно, но не один пуд дерьма съели, – так легко заподозрил его в нарушении неведомых конвенций. – Я ничего не делал, ты понял? Ничего сверх обычного.

– Ну, мало ли, – неохотно выговорил Коля. – Я ничего такого не хочу сказать, но ты, в общем, аккуратнее.

– А про списки вообще ты ничего не слышал?

– Да сейчас половина в каких-нибудь списках, – уклончиво сказал Сазонов.

– Типа?

– Ну, несогласные какие-нибудь… или, наоборот, согласные… Ты ни в какую партию не вступал?

– С какого перепугу?

– Не знаю. Короче, я провентилирую, пока никому не говори.

Они обменялись незначащими новостями и распрощались.

– Никому не говори, – вслух сказал Свиридов. – Дубина. Пока ты там будешь вентилировать, я, может, еще в пять списков попаду…

Он набрал Бражникова, одноклассника-программиста.

– Брага, слышь какое дело. Я попал в хрен его знает какой список.

– Что за список? – Бражников мгновенно насторожился.

– Не знаю! – крикнул Свиридов. – На границе сказали, что я в списке. И потом, у меня картина приз взяла, – так на церемонии закрытия мне его не дали.

– В смысле?

– Не вручили. Сказали, им не рекомендовано, чтобы я показывался.

– Это хреново, – после паузы сказал Брага.

– Ты что-нибудь знаешь?

– Знаю. Но это не по телефону.

– Что значит – не по телефону? Кому ты нужен – тебя слушать?

– Я-то никому, – сказал Брага, и Свиридов понял, что слушают теперь его. Брага был специалист по этой части, он еще в школе уверял, что если набрать 137 и будет занято – значит, слушают. Все набирали, и всех слушали: только потом Свиридов узнал, что эту линию отключили, переделали в 737, а Бражников всех элементарно наколол, хвастаясь секретной информацией. Он мало изменился с четвертого класса.

– Хорошо, ты можешь приехать?

– Лучше ты ко мне, – после паузы сказал Бражников. – Только не домой, давай через час в «Чашке».

Проклиная себя за доверчивость и почти не сомневаясь в полной бражниковской неосведомленности, Свиридов спустился во двор, завел «жигуль» и отправился на Ломоносовский. «Жигуль» после недельного простоя чихал, Свиридов думал, что надо в сервис и что все одно к одному.

Бражников появился, когда Свиридов уже заказал фраппе «Рай на Гавайях» (сливки, кокос, «Малибу»). Воображение продолжало работать, невзирая на все страхи: представим фраппе «Ад на Гавайях». Все то же самое, но с томатным соком.

– Здоров, – буркнул Бражников. От него, как и в школе, разило потом. Он был в красной ковбойке и бесформенных штанах.

– Так что за список-то? – без предисловий спросил Свиридов.

– Ты еще погромче орал бы, – нехорошим тихим голосом ответил Бражников.

– А что такое?

– Ничего, тише надо. Давай с самого начала, по возможности ничего не пропускай.

Свиридов пересказал историю с толстухой-пограничницей, майором в белой форме и газетой кроссвордов.

– Какая обстановка была в комнате? – прервал Брага. – Подробнее!

– Откуда я помню? Стол, стул, диван…

– Вентилятор был?

– Не было вентилятора, кондишен был.

– Ага, – загадочно сказал Брага и потер нос. – Вот видишь. Я же просил – подробности.

– Но вентилятор-то при чем?

– При том. Как он тебе сказал – «По нашей линии»?

– Да.

– Ну и с чего ты решил, что это ФСБ?

– Со всего. А кто еще это мог быть?

– Бойся скоропалительных выводов, – назидательно произнес Бражников. – Интеллигенция рехнулась – ФСБ, ФСБ… Они давно ничего не могут. Это транспортники.

– Какие транспортники?!

– Самые обыкновенные. Транспортный надзор. У них свои списки, никакого отношения к госбезопасности это не имеет. Вспомни: ты когда-нибудь буянил на транспорте?

– С какой стати?

– Ну мало ли. Я не знаю, как у вас там в богеме. Ехал куда-нибудь, напился в «Красной стреле», блевал, скандалил…

– Сроду ничего подобного.

– Штрафовали, может быть? В троллейбусе, за безбилетный проезд?

– Когда? Давно турникеты везде…

– Ну не знаю. Короче, точно транспортники.

– Да какие транспортники! – взбесился Свиридов. – Что это вообще такое?!

– Транспортная милиция Кутырева. – Бражников понизил голос и напустил на себя строгость. – Главный преемник, между прочим. Замминистра транспорта. Патриот, в очках такой. Пять языков знает. На крестном ходе с патриархом шел, разговаривал.

– Какой он преемник, ты опух?!

– Главный, – спокойно сказал Бражников. – Пока в тени, а потом выйдет. Очень православный человек, порядок любит. У меня парень в их ведомстве работает – так там курить нельзя и мини запрещено. Вот он пока на транспорте свои порядки отрабатывает, в поездах и на самолетах. А скоро так везде будет. Так что попал ты, Серый, я тебе точно говорю. Если ты у них в списке, то когда Кутырев придет к власти, будешь добывать золото для страны.

Некоторое время Свиридов прикидывал, насколько это все всерьез. Бражников любил пугать и подкалывать, и многие ловились. Иногда он сам верил в то, что выдумывал на ходу. Выдумки его были однообразны – тайные бункеры в лесах, альтернативное метро, секретный спецотряд транспортной милиции, – но достоверны. Здесь все охотно верили в спецназы, засекреченные отряды и вообще в другую, настоящую страну, живущую где-то в глубине лесов: нельзя же было допустить, что вот это, видимое очами, и есть Россия.

– А за что я мог туда попасть?

– Откуда я знаю. Окурок не там бросил. А может, настучал кто-то. Но они люди серьезные.

– Слушай, Брага, кончай темнить. Я же вижу, когда ты хохмишь.

– А я, может, не хохмлю, – сказал Брага, но Свиридова отпустило. – В любом случае я тебе советую до зимы вести себя очень аккуратно. Сам видишь, они в панике. Устроили выборы и теперь бегают. Выборы-то, судя по всему, последние. У меня парень в Избиркоме…

– У тебя везде парни, – перебил Свиридов. – Ладно, забудь. Чего-то я перепугался, сам не знаю…

По пути домой он почти успокоился. Асфальт медленно отдавал тепло, в серой туче на западе открылась золотая промоина, и оттуда косо били расклешенные, расширяющиеся книзу лучи. Невыносимо грустно было смотреть на рябину, уже начавшую краснеть: лето в середине, в перезрелом расцвете, скоро все покатится под горку. Он опять набрал Алю и на этот раз дозвонился, но радовался рано: она не могла приехать сегодня и даже не особенно усердствовала с поиском оправданий.

– Я тебе завтра расскажу.

– Но я соскучился, Птича! – «Птича» была домашняя кличка, от Ястребовой.

– Я тоже, но тут много накопилось всякого. И с мамой надо побыть.

– А со мной не надо?

– Не ной, не ной. Завтра, ага?

Это «ага» он не любил, и многого в ней не любил, в телефонных разговорах это всплывало, но стоило ей появиться – Свиридов прощал все.

– Ну позвони завтра.

– Сама звони, – буркнул Свиридов. О списке он ей не рассказал – Аля не из тех, у кого стоит искать сочувствия. Чужие проблемы ее, что называется, грузили, и вообще, у нее хватало своих, в которых Свиридов не разбирался, побаиваясь маркетинговой терминологии и сложных офисных интриг. Он, впрочем, подозревал, что жаловаться женщине – вообще последнее дело: по крайней мере, девушке того типа, что нравился ему. Боже упаси от наседки, хлопотуньи, женщины-матери, только и ждущей, на кого бы излить нерастраченные запасы назойливой нежности. Опекает, опекает, потом рыпнешься – а уже повязан по рукам и ногам. Алина независимость была честнее, и сама она никогда не требовала сострадания – расплакалась при нем всего единожды, и тем драгоценней было это воспоминание.

На лавке у подъезда сидела Вечная Люба – так Свиридов называл про себя женщину из тех, кому свободно может быть и сорок, и семьдесят. Люба сидела тут каждый вечер, у нее был свой клуб – жирная блондинка жэковского типа, с крашеными волосами и слоновьими ногами; бабушка в платочке, ничего не понимавшая и всему поддакивавшая; нервная Матильда, худая, дерганая, климактерического темперамента, и всем им было нечего делать, и все они следили за порядком в доме, как его понимали. Еще когда жив был дед и Свиридов ездил к нему сюда, Люба, точно такая же, как сейчас, восседала на лавке, подложив под зад то же самое вчетверо сложенное байковое покрывалко. Она подкладывала его под себя в любую жару. Ей это казалось чистоплотным. После смерти деда Свиридов перестал снимать квартиру в Сокольниках и въехал сюда, на Профсоюзную, и успел хорошо изучить порядки этого женоклуба. Во-первых, они требовали, чтобы все с ними здоровались, а поскольку Свиридов поначалу не знал их даже по именам, они здоровались сами, со значением, давая понять, что старые люди унижаются перед ним, а он не удостаивает. Свиридов все равно не здоровался, они были ему противны. Несколько раз он спасал от них тихую молдаванку из первого подъезда, торговавшую соленьями на ближайшем рынке. Женоклуб третировал сына молдаванки, действительно противного десятилетнего оболтуса, но воспитывать оболтуса они боялись – он мог и послать, а молдаванка, у которой были вдобавок трудности с регистрацией, покорно выслушивала их нравоучения и просила прощенья.

На этот раз у подъезда торчала одна Люба. Сидя на покрывалке, она победоносно озирала свои владения.

– Сережа! – позвала она Свиридова.

– Что?

– Ты не штокай, а когда в следующий раз уезжаешь, меня предупреждай.

– Зачем? – поразился Свиридов.

– Ты не зачемкай, а слушай. Я тебя вот какого помню, тебя мама сюда к дедушке привозила. Твой дедушка был какой человек, а ты что? Ты уезжаешь, а почту носют, она не вмещается в ящик, нам неприятности.

– Какая почта, я ничего не выписываю!

– Выписываешь ты, не выписываешь, я не знаю. Они тебе носют, а ты не берешь. Уже выпадывает из ящика. Почтальон к кому идет? – к Любе. «Где из пятнадцатой квартиры?» А я знаю, где из пятнадцатой квартиры? Или ты скажи на почте, чтоб без тебя не носили, или скажи мне, я буду забирать. Оставь ключ, я буду. Я дедушку твоего знала. А ты уехал, и мы не знаем, где ты, что ты. Нам же надо знать, где что. Вот Сарычевы на даче – я знаю, что Сарычевы на даче. Вот из тридцать восьмой в Африке – я знаю, что в Африке. А тебе письма приносят, может, важное что. Это порядок, нет?

– Какие письма? – растерялся Свиридов.

– Ты не какай, а делай, как я говорю. Ты когда уезжаешь – подошел, сказал: так и так, тетя Люба, я уехал, пожалуйста, если вам не трудно, конечно, забирайте мою почту, вот ключ. Тете Любе не трудно, я по всему подъезду забираю, когда кто попросил. Попроси, не переломишься.

– Ни о чем просить я вас не буду, – зло сказал Свиридов, – и ничего мне тут не носили. Ящик пустой, я проверял.

– Пустой?! – заверещала Люба. Она заводилась с пол-оборота. – Он пустой, потому что всё на почту отнесли! Я сказала, ты в отъезде, он отнес! А там повестка тебе, между прочим! Ты по повестке не придешь, а кто виноват? Не получил, не расписался, ничего!

– Где повестка? – спросил Свиридов, чувствуя, как слабеют колени.

– Ты не гдекай, а в следующий раз предупреждай! Понятно? – торжествовала Люба. – Повестка на почте, завтра пойдешь распишесся. И что за вид у тебя, я не знаю? Я давно тебе сказать хочу: твой дедушка разве так ходил? Твой дедушка в любой жар бруки носил как человек…

Дальнейшего Свиридов слушать не стал и вошел в подъезд. Если бы старая дура сказала о повестке с утра, он бы успел ее забрать и не мучился подозрениями до завтра. Но тогда ее, как назло, на посту не было, а теперь почта закрылась. Какая повестка, разве что на сборы – но сборы давно не проводятся, что он выдумал… Дома он поймал себя на старой, давно побежденной привычке по нескольку раз запирать за собой дверь. Это был отголосок старого синдрома, мучившего его в детстве, – отец тоже никогда не мог с первого раза поставить чашку на стол или выйти из комнаты, всегда делал вторую попытку. В отрочестве все прошло, Свиридов научился обходиться без ритуалов, сопровождавших в детстве каждое его действие и доставлявших массу неприятностей – он везде опаздывал, злился на себя, иногда плакал. В двенадцать лет вдруг понял, что может разорвать эту паутину, – или просто начал сочинять, и возвратные токи, мешавшие мозгу думать, нашли себе иное применение. Возвратными токами он называл бесчисленные побочные сюжеты, развертывавшиеся в голове из-за невыполнения того или иного ритуала. Он с удивлением узнал, что болезнь его, оказывается, никакая не болезнь, что так мучаются почти все дети, что даже религия имеет сходное происхождение, см. «Тотем и табу» (Фрейд все-таки был дурак и такую вещь, как благодарность, не учитывал вовсе). По вспышкам этих внезапных страхов, когда дверь не желала закрываться с первого раза, а надевание ботинок требовало как минимум трех танцевальных па, он замечал, что болен, простужен или переработал, и успевал принять меры до более явных симптомов. Иногда эти странности свидетельствовали о скрытой панике – он давно научился не признаваться себе в ее причинах, пропускать их мимо ума, но она никуда не девалась, только стала беспричинной. Теперь, впрочем, все было слишком понятно. Он понимал даже, почему во всех его танцах наедине с собой такую роль играли двери – границы между ним и миром, который стал вдруг враждебен, как в детстве. Вся адаптация – чушь, нас очень легко перевести в детское состояние, когда каждый волен прочесть нам нотацию. Старая перечница. Свиридов включил телевизор, который всегда его успокаивал, но по телевизору шла реклама шампуня против перхоти: девушка, обнаружив за плечом у юноши бледного типа гомосексуального вида, оскорбленно хлопала дверью, и юноша смывал типа, жалобно цеплявшегося за борт ванны, неумолимой струей белопенного шампуня. Чтобы девушка ушла, обнаружив у возлюбленного перхоть, – как хотите, такого сюжета не выдумал бы и Джером, у которого герой бросил

подругу, увидав ее обломанные ногти; Свиридов тут же машинально прикинул, как это покрутить. В девяти из десяти рекламных сюжетов речь шла о вещах, о которых приличные люди вслух не говорили: запах из подмышек, изо рта, из промежности. Все ревниво наблюдали друг за другом, выслеживая, не оступился ли сосед, не оговорился ли, не разит ли от него. Особо гнусные впечатления заносились в копилку на случай своевременного использования, а в том, что случай подвернется, никто не сомневался. Сегодня Сидоров взят, и сосед тут же вспоминает, что он редко мылся, а позавчера подозрительно долго гладил по голове соседскую девочку. Мир был теперь населен скрытыми педофилами, трясунами, в лучшем случае невинными онанистами, всякий прятал грязную подноготную и, возможно, скрывал шпионаж. Шакалят, шпионят, редко моются. Каждый собирал на другого досье и ждал только повода обнародовать. Впрочем, это наверняка казалось. Больно специфическое состояние. Иногда в сумерках, на болезненной границе тьмы и света, Свиридова охватывало такое же одиночество, и каждый встречный казался врагом, и довольно было ласкового слова или кивка дежурной в гостинице, чтобы мир вернулся к норме. Будь они прокляты со своими списками, почему все мы здесь виноваты и вечно доказываем свое право на существование людям, не имеющим права на существование? Он выключил телевизор и прибегнул к старинному средству: принял контрастный душ и навел идеальный порядок в берлоге. Квартира была однокомнатная, не развернешься, но за час в мусоропровод улетело пять пластиковых пакетов старых кассет, дисков и книг, стол был расчищен от хлама, пыль отправилась летать, и даже зеркальный плафон в комнате был отполирован старой газетой. Ну вот, сказал себе Свиридов, каких мне еще доказательств моей власти над миром? До полуночи он курил, сидя на подоконнике, сыграл пару раз в дурацкую «аркаду» и завалился спать на свежее белье почти умиротворенным.

Говорила занеси ключи не занес говорила дедушка носил бруки не надел. Разговаривал без всякого уважения ой граждане дорогие уважаемые какой неприятный подозрительный тяжелый человек и вся жизнь моя была неприятная и тяжелая. Я написамши вам все по поручению о том как и что, но так же хочу довести что протекает стояк и это уже не первый год. Я вызываю слесарь а что слесарь. Он хочет придет не хочет не придет. Уж я обращалась всюду и никто ничего. Я убедительно прошу что-то сделать. Прошу в моей просьбе не отказать.

4

С утра он предполагал бежать за таинственной повесткой, но в десять его разбудил звонок Кафельникова.

– Зайди в одиннадцать, – бросил он, и Свиридов, не заезжая на почту, помчался в «жигуле» на Трифоновскую. Там размещалась «Экстра Ф», производящая «Спецназ». Машина завелась с трудом, но с пятого раза зачихала – хоть кто-то был Свиридову верен и старался ради него. Люба была тут как тут – злорадно любовалась, как он заводился; заглохнуть у нее на глазах было бы окончательным позором.

Третье кольцо почти стояло. Прямо перед Свиридовым ехала баба на «субару», с задним стеклом, обильно оклеенным предупреждающими знаками: туфелька, «У», чайник – все, чтобы насторожиться. Свиридов никак не мог ее обойти, а когда наконец обошел – впереди замаячила «газель», которая на Беговой заглохла. Никто не пропускал, Свиридов вспотел, объезжая раскорячившийся грузовик, заметил, что машина греется, и молился, чтоб не вскипела. Машину пора было менять давно, но он копил на двухкомнатную для них с Алей. Деньги копились медленно, жизнь двигалась, как эта пробка. В пробке всегда приходили такие мысли. Разрулить ее – как и жизнь – не составило бы городу большого труда: пара очевидных и необременительных рационализаций, но это, наверное, входило в план – чтобы двигаться в час по чайной ложке; более высоких темпов страна могла и не выдержать. Позвонить на эту чертову почту, спросить, что за повестка? Но он не знал телефона.

Кафельников не торопился начинать разговор, хмуро копался в ящиках стола и тянул время. Наконец он поднял на Свиридова честные голубые глаза – глаза Мэла Гибсона, борца за добро и чистоту, тайного садиста и алкоголика.

– Ну чего? – сказал он со вздохом. – Как съездил-то?

– Ничего, приз дали.

– Поздравляю. Слушай, я это, – он сделал паузу и опять порылся в ящиках, но тут же решительно поднял взгляд. Он так и не предложил Свиридову сесть, а сам Свиридов без приглашения стеснялся. – Я рассусоливать не буду, мужик ты

взрослый. Мы с тобой расстаемся.

Свиридов бессознательно готовился к подобному обороту и не особенно удивился, но решил по крайней мере досконально выяснить, в чем дело.

– Что не так? – спросил он по возможности независимо.

– Все так. К тебе профессиональных претензий нет. Утрясется – я позвоню. Но какое-то время ты на «Спецназе» не работаешь.

– А причину-то я могу знать?

Кафельников не рассчитывал на долгий разговор. Он был честен и прям, с порога оглушил сотрудника и вправе был ждать благодарности, без этих, знаешь, бабских тудым-сюдым. Ударил обухом, а мог мучить пилочкой – опыт имелся. Он начинал в тележурнале «Служу Советскому Союзу» разъездным корреспондентом, несколько лет заведовал музыкальной программой «Дембельский альбом», сейчас входил в худсовет патриотического канала «Звезда» и предпочитал выражения лапидарные.

– Причину ты знать можешь и знаешь. Если думаешь, что мне очень приятно выставлять людей, так ты ошибаешься.

– Я ничего не знаю, – твердо сказал Свиридов.

Кафельников изобразил благородным лицом бесконечную усталость.

– Слушай, – сказал он, – что мы опять за рыбу деньги? «Спецназ» – сериал не просто так. Если на человека сигнал, я лучше ему передышку. Мы не можем абы кого. К тебе вопросов нет, за июль все получишь. Но пока такое дело, надо переждать. Черт знает, чего хотят. И так придираются к каждому слову, уже не знают, где крамолу искать. А тут ты со своим списком.

– Я не знаю, что это за список, – вознегодовал Свиридов. – Может, хоть вы в курсе?

– Кто надо, тот в курсе. Все, иди. Не держи зла, должен понимать.

Кажется, он с трудом удержался, чтобы не скомандовать «кругом». Свиридов повернулся и вышел, чувствуя себя оглушенным, оплеванным и ограбленным. Секретарша Кафельникова Марина смотрела на него с состраданием. Марину Кафельников таскал за собой по всем должностям, притащил и на «Экстру». Обычно она раздражала Свиридова постоянной улыбкой и маленькими короткопалыми ручками. Ей было за сорок и даже, пожалуй, под пятьдесят, но она, как и Вечная Люба, казалась женщиной без возраста – просто Любиным эликсиром юности были подъездные скандалы, а Марининым, надо полагать, подобострастие, с которым на нее смотрели посетители шефа.

Но на этот раз она смотрела на Свиридова без дежурной улыбки, и в ее прозрачных кукольных глазах – еще светлей и невинней, чем у Кафельникова, – читалось нечто вроде сочувствия. Должно быть, Свиридов выглядел хуже некуда.

– Сережа, – сказала она тихо, – все образуется.

– Что образуется, Марина Сергеевна? – бешеным шепотом спросил Свиридов. – Что должно образоваться? Я ни черта не понимаю, что происходит.

– Сережа, – еще тише сказала она, – происходит то, что здесь с утра был Сазонов. Ну, Коля, вы знаете.

– Знаю, и что?

– Ничего, – совсем беззвучно продолжала Марина. – Вы только тише. Я вам что хочу сказать. Вам не надо дружить с этим человеком.

– Почему?

– Он плохой человек. Вы ему ничего не рассказывайте, хотя он и так поймет. Я про него кое-что знаю. – Марина многозначительно поджала губы. – Для него люди – пфу. Если у вас что раньше с ним было, разговоры или что, то больше не надо. Он вам сделает нехорошо.

– Слушайте, какое «нехорошо»? Надо ж хоть представлять, в чем вообще дело…

– Дело в том, что он сюда успел до вас, – сказала секретарша, показывая глазами на дверь кабинета. – Я к вам по-хорошему, давайте и вы по-хорошему. Я не знаю, как там и что, но вы с ним будьте осторожны. Я в людях понимаю, тут через меня всякие прошли. Поняли? Ну идите, все уладится.

Он кивнул и вышел. Кое-что начало вырисовываться.

– Сазонов у себя? – спросил он референтку.

– У себя.

Разговаривать с Сазоновым здесь не имело смысла – получилось бы, что Кафельников его выдал, а он не выдал, сука, спрятал доносчика. Идиот, обругал себя Свиридов, у кого искал сочувствия! «Коля, я в списке!». На ватных ногах он спустился вниз, завел «жигуль» и поехал на почту. В сторону Ленинского было посвободнее, хотя на Сущевке перед тоннелем снова встал минут на пять. Главное – никого не задеть. Теперь, когда он в списке, любая проблема вырастала в катастрофу, царапина оборачивалась трофической язвой, – надо контролировать себя очень тщательно. На беду, Свиридов этого не умел. Он привык, что первое побуждение – верное. Теперь надо было все время оглядываться: вести машину без риска, на улице не выделяться из толпы, а разговаривая, взвешивать каждое слово.

На почте выяснилось, что корреспонденцию ему не могут выдать без паспорта; он прыгнул в машину и понесся за документом. Люба уже заняла наблюдательный пост.

– Сереж! – окликнула она его. – Ты што не здороваесся?

– Здравствуйте, – сказал Свиридов, артикулируя каждую букву. Он достиг нужного градуса бешенства, в ушах шумело. – Как поживаете, как испражнение кишечника?

– Ты на почте был? – пропустив испражнение мимо ушей, спросила Люба. – Ты смотри, там повестка, надо забрать.

– Я как раз туда еду, – широко улыбнулся Свиридов. – Вам в магазине ничего не нужно? Я бы прикупил.

– Ты себе прикупи, – Люба поджала губы. – Ты так не разговаривай со мной. Я всяких тут повидала. – Свиридов порадовался совпадению ее лексики с Марининой. – Я тебя вот такого знаю, твой дед всегда со мной здоровался…

Свиридов вбежал в подъезд, хлопнул дверью и вызвал лифт. Паспорт лежал у него в верхнем ящике старого дедова стола. Как бы это выбежать из дома, чтобы миновать Любу? Но когда он выходил – буквально три минуты спустя, – Люба уже пересказывала разговор со Свиридовым климактерической Матильде. Свиридов промчался мимо, как живая иллюстрация.

– Вон он, вон он! – закричала Люба. – Побежал! Ты знаешь, с кем так разговаривать будешь? Ты с бабами своими так разговаривать будешь, которых водишь сюда!

Свиридов уже прыгнул в машину. Отвечать он считал неприличным. Почему она прицепилась именно сейчас, недоумевал он, нюх у нее, что ли? Прямо чувствует, когда можно травить…

На почте долго изучали паспорт, потребовали ИНН – все документы, включая пенсионное свидетельство, хранились у Свиридова вместе, и он захватил их, будучи внутренне готов к такому обороту. Обошлось, по крайней мере, без детектора лжи.

– Что же вы не предупредили, что уезжаете! – укоризненно сказала ему потная сливочная блондинка лет двадцати двух.

– А что, я должен отчитываться?

– Отчитываться не отчитываться, а зайти предупредить можно. Мы должны на почте знать перемещения, нет?

– Еще чего, – сказал Свиридов. – Почему почта должна контролировать мои перемещения? Вам анализы мои не нужны?

– Анализы свои себе оставьте, – брезгливо сказала блондинка, словно он уже выставил перед ней майонезную баночку с желтой жидкостью. – Почтальон видит – вам письмо, а вы не забрали. Он вынужден был самостоятельно принимать решение. Хорошо, ему в подъезде сказали, что вы отъехали. Может, там что важное, откуда мы знаем.

– Ну так дайте мне его скорей, если там что важное.

– Мы дадим, – сказала блондинка. Ей нужно было потянуть время, она еще не закончила лекцию. – Мы дадим, но мы тоже имеем право, чтобы наш труд уважался. Вы же оказываете внимание вашей матери, дочери вашей. Вы и нам можете оказать внимание. Мы тоже не просто так.

– Знаете, – сказал Свиридов, начиная понимать, как это все смешно, – сейчас всё везде не просто так. Я тоже не просто так. Я не могу каждому говорить, куда поехал. Понимаете?

– Всё вы можете, – сказала она уже не так уверенно. Ей было душно, тяжело со своими пятьюдесятью лишними килограммами, кондиционер еле дул, она потела, шутки до нее не доходили.

– Я специальный человек и никому не могу говорить, куда еду. Дайте, пожалуйста, письмо.

– Да берите, – сказала она, вручила ему пачку рекламных листков и толстый плотный конверт. Передав Свиридову корреспонденцию, она тут же демонстративно отвернулась – он явно был неспособен оценить каждодневный незримый подвиг сотрудников почтовой службы. У всех был каждодневный подвиг, кроме него.

Почему-то нельзя было вскрывать письмо в помещении почты, так он чувствовал. Специальные люди контролируют себя, они в одиночестве вскрывают секретные пакеты. Юстас Алексу. На самом деле он уже знал, что ничего страшного. От письма не исходило ни малейшей опасности, даром что вместо обратного адреса был синий казенный оттиск. Это было официальное, но нестрашное письмо. Он разорвал бархатистый конверт: Союз ветеранов спецслужб приглашал его, автора патриотического сериала, на круглый стол «В едином строю. Роль ветеранов спецслужб в патриотическом воспитании молодых». Свиридов

представил ветеранов спецслужб, коллективно воспитывающих молодого. Стало смешно. Что бы мы делали без конкретного мышления! Вот тебе твоя повестка, вечная Люба, старая сволочь. Я в списке, а меня зовут на круглый стол «В едином строю», киноцентр «Октябрь», девятый зал, двадцать девятое июля, форма одежды произвольная. Про форму одежды особенно трогательно, ветераны любят опрятность, помытость.

Ситуацию со «Спецназом», однако, следовало обдумать. С одной стороны – не пропадет он и без «Спецназа», гадостью меньше: если не хитрить с собой, он давно и люто ненавидел этот проект. «Спецназ» сочиняли вчетвером под руководством Кафельникова, спускавшего темы. Это были истории трех неразлучных друзей, отслуживших в страшно засекреченном – как иначе? – подразделении и теперь наводивших порядок в мирной повседневности. Повседневность для них была ни фига не мирной: она кишела агентами, шпионами, в последние полгода дважды появлялись вредители, но не брезговали герои и бытовыми ситуациями вроде супружеской измены. Им было не в падлу водворить беглого мужа в семью, разоблачить взяточника, изловить насильника. Ситуации иссякали, приходилось прибегать к флэшбекам, щедро освещая боевое прошлое героев. Гурьев шутил, что скоро троица будет переводить стариков через улицу – все прочее уже переделали. Чип и Дейл от спецназа – был и свой Рокфор, полковой священник Батя, – почти каждую серию завершали в бане, где пели русские народные песни. Когда не хватало народных, переходили на армейские. «Спецназ» ненавидели все, кто его сочинял, снимал и играл, но он был единственным рейтинговым проектом на оборонном телеканале «Орден». Сегодня в России успешным могло быть только то, что вызывало у автора стойкое отвращение. Видимо, тут действовал общий закон мироздания, и у Бога те же проблемы: самые рейтинговые его создания, то есть комары и мухи, вряд ли внушали ему что-нибудь, кроме омерзения, а популяция человека, созданного по авторскому подобию, ничтожна на фоне их роящихся полчищ. Платили по две с половиной за серию, Свиридов сочинял две в месяц, писал их левой ногой и сдавал с чувством угрюмого омерзения к себе. Если удавалось вписать в серию приличный диалог или точную мысль, рейтинг немедленно падал. Аля не уставала измываться над репликами типа «Батя, я тыл прикрою!» и над растяжкой поперек Тверской «Спецназ. Бывших не бывает», однако свиридовскими заработками пользовалась охотно. «Спецназ» давно надо было бросить, он сушил мозги и сбивал руку, но помимо денег давал социализацию: его смотрели нужные люди, и «Экстра», в конце концов, обещала через год спродюсировать Свиридову «Крышу», написанную еще на четвертом курсе.

После изгнания у него оставался всего один долгоиграющий проект, настолько постыдный, что он работал там на условии полной анонимности: ток-шоу Василия Орликова «Родненькие», где Свиридов сочинял бесконечные семейные истории, разыгрываемые мосфильмовской массовкой за медные деньги. Конечно, Кафельников обещал вернуть его в проект – но службисты черта с два вернут человека, хоть раз попавшего на карандаш. Он-то думал, что статус его защищает, что сценарист «Спецназа» – это звучит; какое! Первым попал под раздачу, как Киршон. Начинают всегда со своих, чтоб чужие порадовались, – потом их можно брать голыми руками. Помилуйте, вы же сами одобряли! Он мечтал соскочить со «Спецназа» уже полгода, чтобы написать наконец давно придуманную «Провокацию», с Бурцевым и Азефом, но одно дело – с удовольствием планировать добровольный уход, намеченный на неизвестно когда, и совсем другое – увольняться пинком, по доносу собственного режиссера. Соавторам – сорокалетнему неудачнику Шептулину, тридцатилетним ремесленникам Гурьеву и Яблочкину – он решил пока ничего не говорить: их злорадное сочувствие будет невыносимо. Главное – немедленно оборвать всякие контакты с Сазоновым. Ни словом, ни жестом не выдать осведомленности. Не унижаться до выяснений. «Мы очень рады, что больше не участвуем в твоем безобразии». Еще не хватало припирать к стене стукача. Свиридов позвонил Але и договорился подхватить ее в шесть на Тверской, около «Маков».

Они не виделись неделю, и он извелся, представляя, что и как было тут без него. Не то чтобы Аля изменяла при первой возможности – это, как ни странно, было бы еще терпимо. Значит, тоскует, раз пытается заменить его кем-то. Но она, кажется, обходилась без него легко и в заменах не нуждалась. Эта независимость и бесила и притягивала. Ужасно было не то, что она любила таскать его по магазинам и тратить его деньги на тряпки, а то, что могла без этого: сколько бы Свиридов на нее ни потратил, он никогда не был уверен, что она вообще это заметила. Привязать ее было нереально: любые жертвы с его стороны оказывались в порядке вещей. Почему-то Свиридов был уверен, что к ней стоит очередь из таких же готовых на все идиотов, как он. Его и здесь можно было в любую секунду уволить без выходного пособия, и она напоминала ему об этом массой трудноуловимых, но хорошо продуманных способов. Отношения вписывались в стилистику победившего не пойми чего, сейчас так было везде – километровые очереди желающих, ошеломляющая легкость избавления от балласта: не хотите? – не надо, завтра сотня приползет. Раньше – он застал – можно было хлопнуть дверью и ждать, что за тобой побегут: вернитесь, мы передумали! Теперь незаменимых не осталось, как в легендарные времена, – потому, вероятно, что не осталось областей, где были нужны эти незаменимые. Он сам был свидетелем того, как в самом тонком ремесле все

встало на конвейер, – что же говорить о конвейерных по определению? С Алей, как ни странно, все шло по этому сценарию: должность человека, состоящего при ней, была престижная, увлекательная и хорошо оплачиваемая в смысле некоторых ощущений. Но Свиридов ни секунды не чувствовал себя на месте. Так он думал, злясь, что она опаздывает. Но она возникла рядом – и он все забыл, включая список.

Рассказывать ей об этом не имело смысла: она не терпела жалоб. Он просто сообщил, что уходит со «Спецназа».

– Ну и правильно. Дрянь такая. А что будешь делать?

– Найду. Мастерство не пропьешь. Меня на «Смуту» звали, – соврал он.

– Что за «Смута»? – Этими его делами она интересовалась, ей нравилось ввернуть на работе что-нибудь инсайдерское.

– Да Рома запустил после «Команды». Ему теперь всё дадут.

– Ты чего, знаком с ним?

– Хорошо знаком, – сказал Свиридов со значением, слегка презирая себя за это, – но тут он не лукавил, Рома Гаранин почему-то его выделял. Вероятно, потому, что однажды Свиридов вдумчиво и с пониманием выслушал его пьяную исповедь, а может, в понравившейся ему свиридовской «Попутчице», даже испорченной мучительными потугами Безбородова доказать, что он не только клипмейкер, действительно было что-то живое, – но Гаранин при встречах с ним целовался и в интервью упоминал как перспективного. После того как трехчасовая «Команда» – о похождениях свердловской гопоты, частично выбитой в Афгане и добитой в последующих братковских разборках, – первой из всех российских картин триумфально отбилась в прокате, Роме было можно все. Продюсеров заваливали заявками «Рота», «Контора», «Лига», «Туса», «Состав» и даже «Компания» – ее Свиридов читал лично, зайдя однажды в «Партнершип». Компания саратовских друзей синхронно призывалась в Афган, где тусовался уже неограниченный контингент позднесоветской молодежи, потом создавала с нуля собственную компанию по производству мебели и в конце концов гибла поодиночке в мэрской избирательной кампании, которую автор писал тоже через «о». Кажется, только эта грамматическая нестыковка удержала

«Партнершип» от запуска. Во всех этих варках, парках и терках, по канону «Команды», выживал один – самый безбашенный, и потому ни одна не повторила Роминого успеха, потому что у него выжил самый убогий, как всегда и бывает. «Команду» показали во дворце, и теперь Рома был туда вхож. В Общественной палате он курировал работу с детьми. Первым призом в программе «Смоги!» для детей-инвалидов было участие в его новом проекте – сказке с немыслимым бюджетом, на которую Рома сейчас мучительно искал соавтора. Команда «Команды» не подходила – страшно представить, в каких выражениях описанная ими добрая фея предлагала бы больному мальчику новые ножки.

– А что за «Смута»?

– Он продюсером там, Грищенков снимает. Весь состав «Команды» в семнадцатом веке. Жизнь за царя. Белоруков – Минин, Гужев – Пожарский, а шатия из КГБ, которая их прессует, – реакционные бояре.

– А Катя кто? Жена Минина и Пожарского?

– Берите выше. Марина Мнишек.

Катей-сестренкой звали главную звезду «Команды», в миру Олю Щукину, железную женщину из Уфы, ныне ведущую «Звезд за рулем» – шоу об актерских гонках на выживание, известного в кулуарах под названием «Мы с ралли». По ходу «Команды» ее героиня, выросшая с коммандосами в одном дворе, спала со всеми, но никогда с посторонними, ненавязчиво утверждая высшую форму лояльности: у себя блядуем как хотим, но чужим не даем. Особенно эффектна была сцена, в которой Сестра сперва отказывала наркодельцу-кавказцу, а потом бестрепетно расстреливала его, непонятливого. Это дало бы повод обвинить Рому в ксенофобии, если бы он заблаговременно не ввел в команду умного еврея Яшу, считавшего для корешей все бизнес-комбинации. Яша, как водится, был хилый очкарик, но именно он в решительный момент прицелился в зловещего гэбэшника Ханина, крышевавшего конкурентов, и случайно попал. Команду крышевал другой гэбэшник, хороший. Именно он в финале ненавязчиво советовал выжившему гопнику Бурому (его жирно сыграл придворный ювелир Полянецкий) пожертвовать совокупный капитал выбитой Команды, доставшийся ему одному, на восстановление Камска после наводнения 2005 года. Рома твердо решил задействовать в новом проекте всех звезд предыдущего и назначил доброго советчика Сусаниным, хотя тот просил Жигимонта. Отрицательные роли ему теперь не полагались.

– И чего ты там будешь делать?

– Ему нужен человек, чтоб историю знал, – соврал Свиридов. – А я в теме.

– Но ведь это будет лажа?

– А «Спецназ» что – не лажа? Тут хоть материал приличный и денег больше. – Он уже сам почти верил, что его позвали на «Смуту», хотя там как раз создатели «Команды» стояли плотным строем: перепереть диалоги коммандос с братковского на псевдославянский, и вся недолга. Брате, пошто разводишь мене? Не грузи, боярин! Им не требовалось даже идеологического апгрейда: блатные всегда были большие патриоты.

Он вспомнил, как они с Алей смотрели «Команду» на премьере в «Пушкинском». Показ был полузакрытый, в продажу ушло всего двести билетов, за которые убивались быки, видевшие в саге памятник себе, и старлетки, мечтавшие потрогать коммандосов. Коммандосы – Савин, Тютяев, Решетов, Большов – затравленно лыбились под блицами. Прочие пятьсот мест заняли випы разной степени випости во главе с вице-премьером, глядевшим в преемники. Перекупщики охамели: входной билет стоил четыре штуки, на входе воздвиглись две дополнительные рамки, у всех спрашивали паспорта и чуть ли не переписывали фамилии. На десятой минуте Свиридов с Алей начали неудержимо хихикать, обмениваясь догадками о следующей реплике и почти никогда не ошибаясь. С Алей хорошо было смотреть всякую чушь, а впрочем, что с ней было плохо?

Аля ела и рассказывала новости, и Свиридову легчало. Он забывал сазоновское предательство и дурацкий список. Надо, в самом деле, позвонить Роме. Я его еще никогда ничем не напрягал.

– Ну, ко мне? – спросил он по возможности небрежно, когда они вышли из «Маков» в гулкое сумеречное ущелье Козицкого переулка. Жара не спадала, короткий ливень ее не смягчил, от берез во дворе шел густой банный запах.

– Не, я не могу сегодня. Мать приехала с дачи, надо с ней побыть.

– Ну завтра побудешь. Поехали, Аль, меня неделю не было.

– Не занудствуй. Я сейчас поеду к себе, выйду на балкончик… – У Свиридова в дедовой квартире не было балкона, Алю это всерьез раздражало. – Выпью чаю с мятой…

– Мята и у меня есть. – Он уговаривал машинально – Аля никогда не передумывала.

– Ну и славно. Зачем тебе я, когда есть мята?

– Слушай, мы долго еще так будем… по-студенчески? У тебя, у меня, обедики в «Маках»?

– Ой, не начинай.

Выражение «ой, не начинай» он ненавидел особенно.

– Слушай! – Он взял ее за плечи. – По-моему, ты на меня зла.

– А по-моему, ты параноик.

– Ну, это моя профессия.

– Вот в профессии и выдумывай. А со мной не надо. Я поэтому и боюсь с тобой съезжаться. Ты же за мной слежку установишь, нет? За каждые полчаса будешь отчет требовать.

С ней что-то было не так – даже сейчас, с ним, она думала о каких-то своих делах: то ли о работе, где ее вечно караулили непонятные ему неприятности, то ли, чем черт не шутит, действительно кто-то появился… Но он немедленно запретил себе развивать хотя бы этот сюжет. Уж если ты разлюбишь, так теперь: только разбежаться не хватало. Уговаривать Алю на поездку к нему было всегда унизительно, он сразу чувствовал себя похотливым псом, жалко скулящим у хозяйской ноги, и привык ни на чем не настаивать, всецело зависеть от ее прихотей – она могла нагрянуть среди ночи, могла не появляться неделю, ссылаясь то на занятость, то на депрессию, из которой, конечно, он ее вытащить не мог, – но Свиридов не умел на нее сердиться, а подозрительность свою ненавидел с детства, хотя и впрямь был обязан ей несколькими славными

заявками. Беда в том, что раньше эти сюжеты не подтверждались – и, сочинив ужасное, он с облегчением плюхался в реальность; это был способ сделать себя счастливым от минуса – вообразить худшее и ошибиться. Теперь, как ни странно, он все чаще замечал, что подозрения сбываются, – то ли стал лучше придумывать, то ли реальность развивалась по худшему сценарию. А может, просто каждый родится с желточным мешком удачи – как у малька, на первую неделю жизни, – а к двадцати восьми она иссякает, и реальность подступает вплотную. В двадцать восемь умерли Моррисон и Джоплин, и Лермонтов доигрался, и вообще это первый кризис; кажется, я до него дожил.

– Ну, звони, – сказала она.

Он постоял у ее подъезда и направился к себе, но таксист попался такой потный и разговорчивый, что в Свиридове закипела злость. Мысль о новой одинокой ночи под пластырем липкой жары, с тоскливым рваным сном, была невыносима. Свиридов не любил спать один. Он вылез на Ленинском и отправился в ближайший бар, но пить в жару нельзя. Вместо веселья пришла тупая злость, и он не выдержал – позвонил-таки Сазонову. Время было детское, одиннадцать.

– Коля, – сказал Свиридов, выйдя из бара на ночной Ленинский. Мимо оглушительно прозудела кавалькада сволочей-байкеров. – Что ж ты, Коля?

– Ты на улице, что ли? – спокойно спросил Сазонов.

– Какая разница? Ну, на улице.

– То-то я слышу.

– Ты чего делаешь, Коля? – сказал Свиридов. – Ты чего Кафельникову намутил?

– Слушай, ты другого времени не нашел?

– Не нашел! – рявкнул Свиридов.

– Еще поищи. Завтра приезжай, поговорим.

– Не завтра! Ты мне сейчас все скажешь!

– Я тебе по телефону ничего не скажу, а будешь орать, вообще обидеться могу, – сказал Сазонов ровным голосом. Он мог обидеться, да. Он был в своем праве. – Завтра позвони с утра и подъезжай. А сейчас спать ложись.

– Я к тебе с утра приеду, – пообещал Свиридов.

– Хорошо, хорошо. Пойду шею помою.

И Сазонов отключился. Свиридов хотел швырнуть телефон об асфальт, но подумал, что неприятностей на сегодня хватит. Он знал, что лучшее сейчас – пойти домой: сегодня он, видимо, отрицательно заряжен и может вносить в свою жизнь только разруху. За ночь пройдет. Он пешком, через дворы, пошел на Профсоюзную, распугивая парочки, и долго качался на скрипучих качелях в ночном дворе. Постепенно в него вползало рабское, кроткое умиротворение. Как хорош этот ночной сквер в середине лета, мелкие прыщики городских звезд, черные кроны на темно-синем, черные краны на ближней стройке, гитара в соседнем квартале. Все эти скверы скоро позастраивают к чертям, а как не хочется. Точечную застройку понатыкали уже везде, в каждый метр свободного пространства, и головы у всех так же точечно застроены – живого места не осталось, всюду повбивали свои сваи, куцые, корявые вертикали, и от этого непрерывного вбивания дрожали и шатались все окрестные постройки, кирпичные малоэтажные шестидесятые, блочные семидесятые с подувающими в щели сквозняками из холодного будущего, – тогда строили плохо, криво, но хоть оставляли свободные места вроде этих скверов, где можно было вздохнуть; теперь не оставят. Точечная застройка головы: неважно чем, лишь бы занять место. В «Вечном сиянии чистого разума» Керри прятал Уинслет, стираемую из памяти, в самых постыдных детских воспоминаниях – именно после «Сияния» Свиридов забросил историю о городе. Город размещался у героя в голове, и там постепенно отключали свет. Начиналось с того, что вдруг разрушили дом возлюбленной: он пришел, а там уже бульдозер роет котлован. Это они поссорились, и он уничтожает следы ее пребывания. С окраин подступает тьма, туда уже страшно соваться. В конце концов он спасается в детском саду – единственном освещенном месте; там еще сохранялось последнее убогое тепло. В конце он просто сидел на крыльце пустого детсада и ждал, кто его заберет: мать, Бог, милиция? Следовало бы ввести туда тему точечной застройки, от которой дрожат все прежние иллюзии, возведенные методом долгостроя на соплях. Если сам я нахожусь у кого-то в голове, этой голове не позавидуешь. Автору все труднее прятать меня и скоро надоест. Эти мысли вызывали уже не злобу, а элегическую грусть. Во двор вышла старуха с палочкой и медленно –

поставит одну ножку, подтянет другую, – направилась к Свиридову. Сейчас скажет, чтобы я и отсюда убирался. Скриплю, жить мешаю. На ее месте я ненавидел бы всех, кому не восемьдесят. Нет, мне точно не остается места: все пространство заняли старики и дети, и ни те, ни другие не знают жалости. Но качаться и скрипеть не переставал.

– Молодой человек, – жалобно сказала старуха, – помоги бабушке.

Свиридов в первый момент не понял, в чем может ей помочь: взобраться на качели?

– Чем, бабушка?

– А чем можешь, молодой человек, – сказала она дружелюбно. – Никого у меня нету.

Свиридов поспешно соскочил с качелей и выгреб из кошелька три сотенные.

– Спасибо, – сказала старуха и побрела прочь. Свиридову неловко было запрыгивать обратно на качели. Он пошел к себе, а когда обернулся, старухи в скверике не было. То ли слилась с пейзажем, то ли померещилась. По всей вероятности, добрая фея. Проверила меня на милосердие, и все теперь будет хорошо. Завтра проснусь счастливым, с утра переедет Аля, позвонит Сазонов и скажет, что я вычеркнут из списка. Он заснул легко и проснулся поздно. Был четверг, присутственный день на «Родненьких»: в два Орликов собирал сценаристов и раскидывал темы. Свиридов постоял под холодным душем, созвонился с матерью и пообещал заехать, но тут затренькал мобильный. Свиридов поймал себя на гаденьком чувстве востребованности: он теперь все время ждал звонка, только не признавался себе в этом. Раньше мобильник его бесил, теперь доказывал, что не все его забыли. Отобразился номер Сазонова.

– Выйди, я внизу, – сказал он коротко.

Свиридов сбежал по лестнице. Фея начинала действовать: сейчас попросит прощения, вернет в проект. Прости, был неправ, перестраховался. Лично заехал, смотри, какая честь.

Сазонов сидел в своем сером «фокусе», на котором несколько раз подбрасывал Свиридова до дома. Сам он жил на Юго-Западе, в квартале, где снималась «Ирония судьбы». Свиридов решил, что будет вести себя жестко, и руки не протягивал; Сазонов, впрочем, тоже.

– Значит слушай, Свиридов, чего я тебе скажу, – произнес Сазонов, глядя прямо перед собой. – Ты не колготись, мой тебе совет, и лишних движений не делай. Попал ты сильно, и надо теперь подумать, как обтекать.

Свиридов похолодел. Все поплыло.

– Как – попал? – спросил он пересохшими губами.

– Это ты должен знать, как попал. – Сазонов разговаривал враз почужевшим, раздраженным голосом, словно Свиридов еще и был перед ним виноват. – Что ты такого натворил – я не знаю, но дело твое швах. Я по своим каналам прокачал – кого-то ты на самом верху задел.

– Да чем задел? Я не делал ничего…

– Это ты не мне рассказывай. Ты сейчас к себе пойди, покури спокойненько и подумай, чего ты там не так делал. – У Сазонова была такая манера – «покури спокойненько», «покушай плотненько», «поспи крепенько». Свиридов готов был его удавить прямо тут, в «фокусе». – Может, покаешься, поговоришь с кем, скажешь – был неправ.

– Да я не знаю, в чем вообще дело!

– Ну а кто знает? – спросил Сазонов, поворачиваясь к Свиридову и глядя прямо на него. Он был крепкий, плотный, черноволосый мужик лет пятидесяти, начинавший в восьмидесятые годы с фильмов про благодетельных ментов, воспитателей малолетних преступников, и разговаривал сейчас со Свиридовым как добрый, но оскорбленный в лучших чувствах следователь отчитывает воренка, вставшего было на путь исправления, но не удержавшегося от копеечной трамвайной кражи. – Кто за тебя будет знать? Ты попал, ты и расхлебывай. Других-то чего путать?

– Я тебя не путаю, – не выдержал Свиридов. – Хорошо, я попал, я разберусь. Но стучать-то зачем?

– Чего? – тихим грозным голосом переспросил Сазонов.

– Я говорю, стучать зачем?! – не купился Свиридов на эту тихую грозность. Он ее хорошо знал, она действовала только на пацанов. – Я тебе сам же рассказал про список, так? На хрена ты пошел докладывать по начальству?

– Ты чего, в претензии?! – изумился Сазонов. – Ты претензии мне выкатываешь, Свиридов? Ты мне картину чуть не порушил, и ты мне претензии?!

– Где я тебе порушил картину?!

– А что у меня будет с картиной, если сядет сценарист? Я не знаю, чего ты натворил, но чем ты думал?! Ты знаешь, что такое «Спецназ», в каких кабинетах его смотрят?! Ты один весь проект сгубить можешь, ты понимаешь, нет? Из-за тебя все может прикрыться, ты двести человек без работы оставляешь, понял? Ты что-то кому-то ляпнул по пьяни, а из-за тебя мои дети голодными будут сидеть? Ты всех подвел под монастырь, это понятно тебе или нет?

Свиридов окончательно перестал что-либо понимать.

– Под какой монастырь, чего ты выдумал? – попытался он утихомирить эту блатную истерику, но Сазонов заводился надолго – его разносы меньше часа не длились.

– Он будет с кем попало пить и трындеть, а мне проект будут закрывать! Ты понимаешь, чей это список? Откуда вообще этот список? Это конторы список, ты понял? И он мне вчера ночью звонит и угрожает! Ты понимаешь, кто ты теперь вообще? Тебя – хорошо, если полы мыть теперь возьмут! И он мне претензиии, что я пошел и довел! Да я не пошел, я побежал! Я в ту же минуту побежал! Я немедленно, я раньше должен был расчухать! А я всегда знал, Свиридов, что ты с улыбочками своими попадешь. Я всегда видел, как ты работаешь, и я, дурак старый, раньше должен был! Тебе это всегда как халтурка, через губу! Я теперь к тебе приезжаю с риском сказать, чтоб ты не рыпался, и ты мне претензии выкатываешь! Я рискую, может быть, что вообще к тебе приехал, а ты мне претензии свои! Что я пошел! А как бы я не пошел?! У тебя был бы коллектив в

двести человек – ты бы не пошел?!

– Не пошел бы, – твердо сказал Свиридов. Ему уже было не страшно, а смешно.

– Вот я посмотрел бы на тебя! – орал Сазонов. Сзади гудели – он своим «фокусом» перегородил двор, но и не думал трогаться с места.

– Машину подвинь, проехать надо, – сказал Свиридов.

– А ты не учи! – огрызнулся Сазонов, завелся и перепарковался.

Мимо тяжело проехал черный джип. Хвост за Сазоновым, подумал Свиридов и усмехнулся, – явно хвост. Приехал, утешил, теперь тоже в списке.

– В общем, так, – сказал Сазонов, внезапно успокоившись. – Свои дела как хочешь разруливай, но пока чтобы я тебя не видел, не слышал. Близко к «Спецназу» не подпущу.

– Да я сам к твоему «Спецназу» близко не подойду.

– Вот и правильно, – обиделся Сазонов. – И звонить мне по ночам нечего.

– Стучать нечего, тогда и звонить не будут.

– Ладно, ладно. Мне пора.

– Ну конечно, ты занятой у нас. Езжай, Коля.

– Давай, давай.

– Только знаешь чего? – сказал Свиридов, уже вылезая из «фокуса». – Как меня начнут на допросы тягать, я им обязательно расскажу, как ты министра обороны называл. У Кафеля на юбилее. Еще Гутин был, слышал. Так что жди.

– Сука! – прохрипел Сазонов. – Вон пошел, мразь!

– Так и скажу, – ликуя, произнес Свиридов и хлопнул дверцей. Сазонов резко взял с места и понесся со двора.

Дома Свиридов уселся на подоконник и стал приходить в себя. Он понимал, что Сазонов обозлился на себя самого, что заботой о коллективе оправдывает собственное свинство, что свиридовская зачумленность возвращает ему чувство благополучия и безопасности, – но уязвляло его не это. Что-то было не так. Дело было даже не в том, что Сазонов оказался такой дрянью, – в конце концов, Свиридов никогда его не любил, – а в том, что он оказался ею так быстро. Он будто готовился, прикидывал этот вариант, избавлялся от Свиридова при первой возможности – а стало быть, давно мечтал его выкинуть. Мир только и ждал, чтоб наброситься, мерзость искала щель, чтобы в нее хлынуть, – и список дал отмашку на все худшее. Теперь надо было изо всех сил делать вид, что ничего не произошло, – и мир мог еще вернуться в прежний вид. С утра Свиридов собирался ехать к матери, вот и надо поехать к матери.

5

Отец Свиридова пропал без вести в девяносто пятом году. Таких историй было тогда много. Весь девяносто пятый год выпал из жизни Свиридова, он и теперь, одиннадцать лет спустя, старался его не вспоминать. В реальности появились дыры, и люди проваливались в них сплошь и рядом. У свиридовской однокурсницы в девяносто восьмом так же необъяснимо исчез жених, а до того, в девяносто третьем, у одноклассницы пропал старший брат, но он хоть штурмовал «Останкино» в ополчении Макашова, а жених однокурсницы разругался с партнером по бизнесу: у всех были причины исчезнуть, а у отца никаких. И самое страшное, что Свиридов весь год ждал чего-то подобного – обостренная ли интуиция была виновата, сам ли он себе задним числом внушил, что к тому давно шло, но отец исчезал постепенно, становясь все прозрачней, все необязательней. В институте его сократили за год до исчезновения, бомбить на «москвиче» он не отваживался – водителей тогда грабили за здорово живешь, да и водил он так себе. Сокращение, а до того безденежье капитально выбили его из колеи. Из доброжелательного интеллигента, каких много, он превратился в дерганого, пуганого, хрупкого старика, стал путаться в словах, не мог изложить элементарную жалобу на здоровье, даже заикался временами; тогда Свиридову казалось, что это был стресс, но потом задним числом он понял, что так начиналась болезнь.

Никто в семье не предположил, что с отцом может случиться такое, и вдобавок все были заняты собой: старшая сестра Людмила давно жила с мужем, заезжала по праздникам и без особой охоты, потому что дома было плохо, бедно, тревожно, и Свиридов на нее не сердился. Сердилась мать, вечно упрекавшая всех в эгоизме, – у нее и отец был эгоист, хотя весь последний год он только и делал, что неумело хлопотал по хозяйству, повязывая идиотский фартук, стыдясь вынужденного бездействия. Ничего, кроме своего мостостроительства, он не умел, вписаться в новые времена не мог, а от тогдашних авантюр, вроде шуб-туров в Грецию или челночничества в Польшу, его удерживал чересчур наглядный опыт калугинского разорения: сосед по съемной даче Калугин лишился на российской границе всех шуб, а потом на Черкизовском сгорел ларек его работодательницы, и за двухмесячное челночничество ему тоже никто не заплатил. Выживать и барахтаться стоило не ради денег, которых все равно было не сколотить, – а ради занятости, состояния при деле: барахтаемся, сбиваем масло… Свиридов с самого начала знал, что приспосабливаться бессмысленно: зарабатывать в бизнесе, как он сложился тут, могут только люди особого склада, другим лучше не соваться и работать по профессии, пока дают. А вытеснят – ждать нового шанса, не торгуя дачными огурцами, не покупая место на вещевом рынке в Лужниках и не пытаясь перепродать с автолавки китайский ширпотреб. Отец тоже это понимал, и Свиридов радовался, что он не суетится. Впрочем, суетиться он и не мог – его сил едва хватало подмести и что-то сготовить. На сына он смотрел виновато, стыдясь бесполезности, время от времени заводя разговор о том, что не может обеспечить семью, и морщась, когда Свиридов с неуклюжей горячностью его утешал. На жизнь им хватало – мать отрабатывала две ставки, специалисты ее класса ценились, родная поликлиника МПС, прежде закрытая для посторонних, завела платное отделение, – но дело было не в деньгах, и отец сникал, ветшал, истончался. Один раз он вышел за сигаретами и вдруг забыл, в какой стороне дом: стоял посреди проспекта и стеснялся попросить помощи, потом так же внезапно вспомнил.

С исчезновением его до сих пор все было непонятно. Свиридов знал, что его нельзя выпускать одного, и мать наверняка чувствовала, что все эти провалы в памяти не просто так, но, как многие врачи, суеверно боялась лечить своих, да и сама никогда не обследовалась. Может, врачам видней, что несерьезное пройдет само, а серьезное лечить бесполезно. У всех словно опустились руки. Свиридов боялся сказать себе, что отцу позволили исчезнуть. Хотел ли этого он сам – тоже не разберешь: самое странное, что в тот день, шестого сентября, его видели двое, знакомый и незнакомый, и оба позвонили по объявлению, но эти

показания лишь окончательно все запутали. Давний приятель, вместе ездили когда-то на машинах в Прибалтику, заметил его в пивной на проспекте Мира – далеко от дома (они жили на Вернадского), днем, в компании тихих алкашей. Отец узнал приятеля, рассеянно кивнул, перебросились незначащими вопросами. Он сроду не пил в незнакомых компаниях, тем более днем. Другой свидетель, вполне посторонний, узнал отца по фотографии – он видел его в электричке Савеловского направления. (С какой стати его понесло на эту электричку? Своей дачи не было, у единственных друзей дома Еремеевых, пять лет назад уехавших к сыну в Испанию, был участок по Курской.) Разве что шел по проспекту Мира, свернул на Сущевку, дошел до Савеловского – не понимая, где он и что с ним? Был, впрочем, крошечный шанс, что он просто сбежал от семьи, ушел туда, где жена и сын не отягощали его совесть вечным напоминанием о бедности и неустроенности, и живет теперь у провинциальной медсестры, колет дрова, воспитывает ее сына от первого брака, – но в эту жалкую идиллию Свиридов не верил ни секунды. Он все-таки знал отца.

Менты ничего не делали, да у Свиридова с матерью и не было рычагов, чтобы заставить их шевелиться. Тут молодые, здоровые исчезали каждый день, чтобы обнаружиться по весне в лесополосе, – кому было дело до явно рехнувшегося старика? «Альцгеймер», сказала тогда мать, я должна была давно понять по этой эмоциональной глухоте, по желанию свернуться калачиком, забиться в темноту, но пойми, я боялась даже допускать эту возможность; Свиридов понимал. Они обзванивали больницы, расклеивали объявления по Савеловской ветке – все напрасно, и Свиридов с особенным вниманием изучал истории внезапной амнезии, когда житель Владивостока вдруг обнаруживался в Таганроге, раздетый, обобранный, ничего не помнящий. Из таких историй у него получилась потом «Крыша»: их было удивительно много, больше полусотни, и во всех жертвами оказывались мужчины средних лет, отцы семейств, внезапно исхищенные из обыденности и лишенные памяти. Ужасней всего было представлять, что отец и теперь бродит по Подмосковью, а то и по стране, ночует где придется, просит милостыни, сидит в провинциальной психушке, работает на страшной плантации – и все морщится, все ловит за хвост ускользающую мысль. Хотя, конечно, его давно сбросили с какого-нибудь ночного поезда, или убили на вокзале, или обобрали безжалостные беспризорники, или сам он замерз в ноябре, когда ударили внезапные бесснежные холода. Куда срывались вдруг эти сорокалетние отцы семейств, потрясенные внезапным озарением, вроде того, что все напрасно? Отцу, правда, было под шестьдесят. Мать с того сентября год не спала по ночам, не выпускала Свиридова из дома после девяти вечера, изводила его и себя упреками – Свиридов потому и не съезжал из дома до двадцати пяти лет, что боялся

оставить ее одну, и теперь навещал по два раза в неделю, благо близко.

Если бы отец умер от болезни или несчастного случая, Свиридов вспоминал бы о нем только с тоской и любовью, но он исчез так необъяснимо, что всякая мысль о нем сопровождалась ужасом, до сих пор не притупившимся. Этот ужас был острей любви, резче тоски, неизлечимей скорби: отца проглотило подпочвенное, вечно роящееся внизу и вдруг вырвавшееся наружу. Шел, шел и заблудился в измерениях, провалился в щель, выпал из жизни и не смог вернуться; и то, что выпадали многие, было еще страшней. Объявления о пропавших стариках и детях обновлялись в их районе ежедневно. Пытка надеждой не прекращалась – мать все еще ждала, хотя все понимала. Иногда их собака, двенадцатилетняя колли Бэла, давно ставшая Белкой, принималась стучать хвостом и отчаянно выть, и мать всякий раз белела, стоило собаке задрать морду и завести вой, даром что отец был, скорей всего, ни при чем – должна же и собака оплакать свою старость, слабость и надвигающуюся слепоту.

Мать не то чтобы успокоилась, но купила душевное равновесие ценой отказа от воспоминаний, от сильных чувств, от сложности, всегда так умилявшей Свиридова на фоне его безнадежно плоских, в каждом слове предсказуемых ровесниц. Со страной вышло так же: за нынешний вялый покой, похожий на сон в июльской предгрозовой, лиловой духоте, она отдала способность думать и чувствовать, помнить и сравнивать, и любой, кто ее будил, в полусне представлялся ей злодеем. Мать радовалась, когда Свиридов появлялся, но уже не слушала, когда рассказывал о себе. Жаловаться ей было тем более безнадежно: чужие драмы ее только раздражали. Если дело касалось соседки или бывшей коллеги, то есть не требовало сочувствия, – она выслушивала сетования с живейшим интересом, но если предполагалась хоть капля сопереживания – не чувствовала ничего, кроме злости. Свиридов понимал, что для нее это единственный способ сохранить рассудок, и не роптал.

Он не стал ничего рассказывать про список. Мать, как всегда, пожаловалась на Людмилиного мужа, похвалила ее ребенка, который при таком отце умудрялся расти начитанным и вежливым, и машинально расспросила про Крым. Свиридов так же машинально ответил, что Крым без изменений. У него была смутная надежда, что мать разглядит его тревогу, присмотрится, начнет расспрашивать – и тогда он с блаженным детским облегчением расскажет ей все, и она скажет, что у них в подъезде уже двое в списке, и ничего страшного, это список на увеличение жилплощади, а на таможню он попал случайно, потому что перепутали список бесквартирных со списком невыездных. Это было бы

невероятным, недостоверным счастьем – но это счастье осталось во временах, когда мать еще могла успокаивать его, отца и Людмилу, вечно страдавшую то из-за любви, то из-за фигуры. Теперь ее едва хватало на то, чтобы оградить от тревог себя. Свиридов взял Белку и отправился по старой памяти выгуливать ее в парк.

В сущности, ничего не случилось. Шестой сезон «Спецназа» и так заканчивается, и нет уверенности, что будет седьмой. Рома непременно что-нибудь предложит, он всегда говорил – звони. Шура Семин просил помочь с новеллизацией «Подворья», поскольку сам писал кое-как и вообще перекатал всю историю с житийной литературы; это штуки три по нынешним ценам. Можно было позвонить Григорьеву и попроситься в «Глафиру» – неудобно, сам отказался, но к чертям неудобство. В «Глафиру»-то его должны были взять беспрепятственно – чай, не канал «Орден». Да и потом, что за вечный страх остаться без места? Сам все жаловался – нет времени, нет времени. Теперь у тебя есть время, сядь и напиши наконец, что хотел, и не отговаривайся обстоятельствами. Жара кончилась, Москва посвежела, по асфальту металась светотень, блестели листья, матери катили коляски, и хотя липы отцвели, слабый медовый запах еще путался в кронах. Свиридов спустил Белку с поводка – пусть бегает, в конце концов, а то совсем скисла. Она, впрочем, никуда не убегала и степенно трусила рядом, всем видом говоря: да, я без поводка, ибо не нуждаюсь в контроле, но у меня хватает самодисциплины. Только дураки ищут счастья в каждой луже или подворотне – я уже знаю, что счастье в стабильности.

Свиридов купил матери творогу и сосисок – собака терпеливо ждала у магазина – и собрался было домой, но на углу Кравченко, у конечной остановки тридцать четвертого троллейбуса, Белка дико залаяла на проходящую мимо таксу: старость старостью, воспитание воспитанием, а такс она ненавидела люто и ни одной не пропускала без оглушительных проклятий. В них было что-то, оскорблявшее в ее глазах саму собачью природу, предательски-приземистое, отвратительно-бесхвостое, сосисочное. Такса ответила старушечьим тявканьем, хозяин быстро утянул ее на поводке в ближайшую арку, а Белка, ленясь бежать за уродиной, облаивала ее вслед, – Свиридов не мешал ей, зная, что это бесполезно, но тут до него донесся стариковский вопль:

– Ну ты, ты! Убери ее, ты! Я пройти не могу!

– Сейчас, сейчас, – заторопился Свиридов. Он только теперь разглядел высокого тощего старика, беспомощно прижавшегося к стене. У старика были длинные

седые космы, защитная рубашка и брюки с бахромой.

– Ты что без поводка ее пускаешь, ты! Людям ходить не даешь!

– Сейчас уведу. А что вы так орете-то? – обозлился Свиридов. Белка сроду ни на кого не напала. – Она не кусается.

– Я откуда знаю, кто кусается, кто нет! Убери ее, я тебе сказал! Пристрелить надо твою собаку! – Старик был из тех неистребимых моченкиных, что еле держатся на ногах и всего до смерти боятся, и Свиридову, безусловно, не надо было заедаться с ним, – но после вчерашних склок с Вечной Любой он был зол на всю эту подъездную шушеру, за отсутствием собственной жизни раздувающую скандал из всего.

– Как вы сказали? – ласково переспросил Свиридов. – Кого пристрелить?

– Собаку твою! – отчаянно заблажил старик. – Собаку твою и тебя надо пристрелить! Напишу, вызову, будешь наказан, не волнуйся! Не волнуйся, будешь наказан!

Видимо, старец совсем выжил из ума. Его словарного запаса не хватало даже на внятную угрозу. Он выглядел необычайно хилым и дряхлым, его шатало ветром, но самая эта хилость почему-то выглядела устойчивой, непобедимой: он пережил все, и пережить Свиридова для него было плевым делом.

– Если ты еще раз откроешь рот, – сказал Свиридов, – я сам тебе санитаров вызову. Слышал, развалина?

Он сразу понял, что сказал это зря. На лице старика появилось блаженство жреца, наконец вызвавшего дождь.

– А, ты угрожать! – задребезжал он. – Ты оскорблять! Я тебя знаю, откуда ты! Я тебя знаю, твою мать знаю, твою собаку знаю! Она ходит тут со своей собакой гадит! Вы все, все будете вот тут!

– Мать не трогай! – рявкнул Свиридов, но старик не утихал. Он дождался счастья, ему открылось широкое поле деятельности. Он грозил Свиридову

палкой и колотил ею в асфальт, призывая милицию. Свиридов взял Белку на поводок, плюнул в сторону старика и отправился домой, слыша за собой проклятья и дивясь их неиссякаемости. Положительно, список перевел его в разряд жертв: теперь от него пахло затравленностью, он испускал ее флюиды, и каждый норовил добавить. Свиридов не знал, что с этим делать, и купил для успокоения «Отвертку». Настроение было испорчено бесповоротно.

– Мать, – спросил он дома, – что это за старец у нас во дворе, косматый?

– Это ужас что такое, – сказала мать. – Синюхин. Год назад сюда переехал. Ты его не видел раньше?

– Нет, бог миловал.

– Весь район терроризирует. Пишет на всех в милицию. А они приезжают, потому что иначе он пишет на них. Можно тут человека убить, и никто не приедет. А к Синюхину ездят, даже когда у него сосед сверху музыку включает. Ты не знаешь, что это за человек. Он нас теперь замучает, мне будет на улицу не выйти. И что ты только вздумал с ней гулять? Почему из любой твоей помощи получается вот такое?

У матери сделалось испуганное и злое, заячье выражение лица. Такое бывало в детстве, когда Свиридов заболевал. Понятно было, что она злится не на него, а на его болезнь – свинку, краснуху, – теперь он заболел Синюхиным, но уже исключительно по своей вине. Главное же, что он рисковал заразить Синюхиным ее и Белку.

– И почему ты никогда не можешь с людьми по-человечески? Почему ты обязательно должен со всеми ругаться?

– Да ничего не будет. Что он может сделать?

– Он пойдет сейчас писать заявление, что ты без поводка выгуливаешь собаку. Или позвонит и вызовет наряд. Господи, и за что все это? Я как знала, не хотела ее с тобой отпускать…

Если такая ерунда, как скандал со стариком Синюхиным, выбивала ее из колеи – можно было представить себе, во что вылился бы разговор о списке; но очень скоро Свиридов убедился, что мать, как и десять лет назад, понимает в жизни больше, чем он. Он едва успел распрощаться и спуститься вниз, как заметил во дворе милицейский «форд». Поначалу Свиридов посчитал это совпадением, но около машины, ликуя, топтался Синюхин. К подъезду уже направлялся мент с черной папкой – толстый, одышливый, белоглазый. Чем-то он неуловимо напоминал сливочную блондинку с почты, тоже вынужденную причинять людям неприятности, не нужные ни ей, ни им, а только непостижимому божеству, чьи портреты следовало бы вывесить во всех присутственных местах России, если бы кто-нибудь знал, как оно выглядит.

Быстро, однако, подумал Свиридов.

– Вон он, вон! – дрожащим голосом орал Синюхин. – Угрожал, угрожал мне, старику, бессильному человеку, больному! Больному мне угрожал!

Для типичности ему не хватало только потрясать грудой обтерханных справок.

– Проедемте, – вяло сказал толстый мент, глядя в сторону.

– Куда?

– Проедемте, там вам скажут, куда, – повторил он равнодушно.

– Я никуда ехать не могу, у меня работа, – сказал Свиридов, понимая, что сопротивление бесполезно.

– У всех суббота, у него работа! – орал Синюхин. Со слухом у него все было отлично, дай бог каждому в его годы.

– Заткните его, а? – сказал Свиридов. – Чего он лезет? Он угрожал мою собаку убить.

Синюхин обалдел от такой наглости и замолк.

– Там разберутся, чего кто угрожал, – все так же вяло сказал толстый. – Проедемте, и разберутся.

– Да не поеду я никуда! – крикнул Свиридов, понадеявшись, что наглость сработает и против мента. – Кто вы такой, где у вас ордер?

Мент не стал ему ничего отвечать, а просто бросил свою черную папку и заломал ему руку – быстро, больно и совершенно равнодушно. Он втолкнул его в машину, где ждал, ни на что не реагируя, мент-водитель с длинным костистым лицом, потом вернулся за своей папкой и, кивнув на прощанье старику Синюхину, плюхнулся рядом со Свиридовым. Старик порывался ехать с ними, желая в отделении лично рассказать, как именно Свиридов угрожал его жизни и здоровью, – но толстяк повторил, что там разберутся.

– Учтите, я вам сопротивления не оказывал, – сказал Свиридов. Злость в нем все еще была сильнее страха. – Вы ответите.

Мент отвернулся к окну и не удостоил его ответом.

Очень все быстро, снова подумал Свиридов. Скоренько, сказал бы Сазонов. Три дня как прилетел – работы нет, в подъезде скандал, теперь взяли. А мы надеялись, что ничего нельзя вернуть. Идиоты, ничего и не надо возвращать. Оно не уходило.

Отделение располагалось в трех кварталах от дома, он пару раз бывал тут в паспортном столе, на первом этаже двухэтажного милицейского здания. Против ожиданий, в обезьянник его не бросили, а провели прямо на второй этаж, к начальнику отделения, которого Свиридов знал. Это давало хлипкую надежду: Свиридов учился с его сыном и даже был пару раз у них дома. Фамилия начальника была Горбунов, он был усат, добродушен и вечно утомлен. Толстяк ввел Свиридова в кабинет и вышел. Кабинет был похож на все милицейские и жэковские помещения, наличествовали даже графин с желтой водой, и облупленный зеленый сейф, и несчастный амариллис на подоконнике.

Майор Горбунов посмотрел на Свиридова безо всякого выражения.

– Я не понимаю, – сказал Свиридов. – Ваш подчиненный на меня набросился, руку мне заломал, я заявление сейчас напишу…

– Это да, это извините, – сказал Горбунов. – Писать не надо ничего, я поговорю.

– А что вообще такое? Вы же меня знаете, я был у вас, я с Игорем в школе учился… Набрасываются, тащат… Старик какой-то сумасшедший… Мало ли что скажет старик? Ему знаете что может в голову взбрести?

– Да старик что? Старик ничего, – сказал Горбунов, глядя на него все так же – без осуждения и сострадания, а словно чего-то ожидая. Свиридов явно должен был сам признаться, потому что Горбунов его щадил – не забирал, не запирал, – и надо было оценить его деликатность, то есть все рассказать самому. Еще немного, и он ласково спросит: «Говорить будем?»

– А что я должен, если не старик? – перенимая одышливо-отрывистый стиль, сказал Свиридов. Весь этот Кафка начинал ему надоедать – главным образом буквальными совпадениями с литературой.

– Да я бы, сами понимаете, ничего, – после паузы сказал Горбунов, побарабанив пальцами по столу. – Но тут такое дело.

Он опять надолго замолчал. Диалог выходил на диво содержательным.

– Такое дело, – повторил он, глядя в стол.

– Список? – прямо спросил Свиридов.

Горбунов поднял на него сенбернарские глаза с оттянутыми книзу веками.

– В курсе? – ответил он вопросом на вопрос.

– Не в курсе, – зло сказал Свиридов. – Знаю, что есть список, а что за список – понятия не имею.

– Ну а кто должен иметь понятие? – задал ему Горбунов все тот же гнусный вопрос, который он выслушивал в третий раз за сутки. – Кто знать-то должен?

– Вы, наверное, – сказал Свиридов. – Если вам довели.

– Нам довели, да. Но в списке-то вы.

– В списке я, да. Но довели-то вам. – Свиридов понял, что надо жестко придерживаться правил игры и во всем имитировать стиль собеседника. Это был балет, танец. Наступил – отступил, выпад – отпад.

– А тут приходит сигнал, – выждав еще одну паузу, во время которой родился еще один вялый милиционер, сказал Горбунов. – Так бы я не реагировал. Мне что этот Синюхин? У меня сумасшедших стариков в каждом дворе по одному. Делать нечего, они строчат. Они же не переводятся. Я состарюсь, такой же буду.

Это была уже вполне человеческая фраза, вне абсурда, который тут происходил. Свиридову показалось, что в душный горбуновский кабинет вползла струйка живого прохладного воздуха.

– Если всех тягать, на кого он стучит, мне узбеков некуда девать будет, – сказал Горбунов. – Вон на стройке узбеки без регистрации. А он пишет: врач ему был невнимателен, дворник ему был неаккуратен. Он сам-то кто? Стоматолог. Людей мучил. Двадцать лет на пенсии. Привык сверлить, вот и сверлит. Но вы должны понять: мне доведен список, я что могу?

Подтверждалось свиридовское подозрение: теперь, после попадания в список, любая житейская дрязга будет протекать тяжелей и заживать дольше, как царапина при диабете.

– А кто довел-то? – спросил Свиридов и тут же пожалел об этом. Список довела инстанция, о которой не полагалось спрашивать и не принято было отвечать.

– Кто надо, – сказал Горбунов. – А то сами не знаете, кто у нас доводит.

Неясно было, гордится он тем, что у нас все так обстоит, или стыдится, подобная смесь стыда и гордости с неявным превалированием последней была в основе новой идентичности; какой-то Задорнов.

– Догадываюсь, – стараясь вернуть его к союзническому, заговорщическому тону, ответил Свиридов. – Но это же может быть список на награждение, так? На что-нибудь хорошее, нет?

Горбунов усмехнулся.

– На хорошее они списков не дают, – сказал он. – Не та контора. Это вы даже оставьте, как говорится, надежду.

– Ну а что тогда? Если брать, то берите, только не мурыжьте попусту. Вы ждете, что я вам все скажу, а я сам не знаю.

– Да это-то понятно, – протянул Горбунов. Он явно искал, к чему прикопаться, и не находил. Свиридов был чист. Он даже нигде, кроме военкомата, не состоял на учете. Его не задерживали в нетрезвом состоянии, не доставляли приводом, не привлекали в качестве понятого. – Просто сами видите – теперь если сигнал, то повышенное внимание.

– Но я же не сделал ничего! Это он сделал, он обещал застрелить меня и мою собаку!

– Да по собаке вопросов нет, – отмахнулся Горбунов. – По старику нет, по собаке нет… Я маму вашу знаю, – сказал он внезапно, – хорошая мама.

По контексту следовало ожидать, что он добавит: «И вон что выросло», – но он молчал, томился, вытирал пот, и так же томился Свиридов. Майор, кажется, в самом деле еще не знал, как к нему относиться. Никаких человеческих чувств к Свиридову он, конечно, не испытывал, но испытывал, так сказать, имущественные. Перед ним сидел человек из списка, особый, обративший на себя внимание самой высокой здешней инстанции, он сидел у него в отделении и жил у него на участке, и непонятно было, как им распорядиться. Из этого могло получиться повышение по службе, а мог большой геморрой; его можно было взять сразу, а можно понаблюдать, вытащить сообщников, накопать целый заговор. Он надеялся, что Свиридов ему что-нибудь подскажет, но он то ли не знал, то ли хитрил. Приходилось решать самому, и надежней всего было тянуть время – вдруг сорвется и проговорится.

– Мне на работу надо.

– Нет, на работу вы погодите, – сказал Горбунов, и Свиридов понял, что на совещание по «Родненьким» опоздает безнадежно. – Вы посидите, подумайте –

может быть, что-нибудь… Это нельзя вот так сразу. Если б он не просигналил, я все равно обязан. По месту прописки. Вы тут не проживаете, нет?

– Я у деда на квартире живу, – сказал Свиридов. – А что?

– Да вот видите, прописаны тут, живете там. Уже нехорошо. Путаницу создает, и, может быть, кто-то недоволен. Может, вас надо вызвать срочно, а вас нет. И тогда это, допустим, список людей, которые живут там, а прописаны тут. Я же не знаю, меня не вводят. У меня на все отделение вы один по списку, и я про других не знаю.

– Слушайте, – не выдержал Свиридов. – А показать мне этот список вы можете?

– Нет, как же? – развел руками майор Горбунов. – Если бы вам надо было, так вам бы довели. Я вообще не имею права вам сообщать, это я по дружбе.

– А о чем бы вы меня тогда спрашивали, если бы не сообщили? – не понял Свиридов. – Что, мы так друг на друга бы и смотрели?

– Не знаю, – вздохнул майор. – Нам не доведено, какие мероприятия. Нам только список.

Свиридов отчетливо понимал, что сейчас решается если не сама его участь, то общий ее вектор: в воздухе сгущались и плавали трудноопределимые сущности, и надо было что-то изменить сейчас, пока они не отвердели. То есть конец был один, раз уж он попал на карандаш, но еще можно было выговорить послабление, расчистить люфт. Так в основу приговора чаще всего ложатся первые показания, когда жертва еще не знает, как себя вести. Надо было сказать что-то правильное, свойское, но Свиридов, даром что сценарист, никак не мог придумать такой пароль. Он чувствовал себя как в регулярно повторяющемся сне: он сидит зимой, ночью, во дворе своего дома, и знает, что для облегчения участи – прижизненной или посмертной, во сне не уточняется, – ему надо куда-то пойти и что-то сделать, может быть, просто повидаться. Он идет к себе домой, там все в сборе, собираются пить чай, очень удивляются его возвращению: «Ты же уехал!» – «А куда я уехал?» – «Ты что, не помнишь?!» И от страха снова услышать материнское: «Ты всегда все забываешь, в прошлом году забыл зонт, всегда забывал в школе сменку, не помнишь, куда идешь, за что мне все это!» – он кивает: «А, да-да, конечно, ну, я пошел». Значит, не домой. Тогда к

Володьке? Но Володьки нет дома, ему так и говорят, и почему-то со страшным раздражением. Ладно, тогда, наверное, на Киевский вокзал. Я должен куда-то уехать. Но на Киевском вокзале закрыты все кассы, и метель заметает пути. То есть совсем, совсем мимо. И тогда он возвращается в сквер и понимает, что ничего в своей участи изменить не может – участь на то и участь, чтобы ее нельзя было изменить. Значит, надо просто сидеть там и ждать. И как только он это понимает – сквер чудесно преображается, принимается падать легкий танцующий снег, даже что-то вроде «Вальса цветов» звучит из окон. Чтобы изменить участь, оказалось достаточно с ней примириться. Это был правильный сон – о том, что не надо дергаться. Он и теперь перестал подыскивать пароль и задал вопрос, который его интересовал.

– А сколько нас в списке? – спросил он.

Это и было парольное слово. Достаточно было сказать о людях из списка «мы» – и тем окончательно отделить себя от нормальных, никуда не попавших.

– Сто восемьдесят, – со вздохом сказал Горбунов. – Ну, идите, работайте.

– А вы не можете сделать так, чтобы старик не орал? – осмелел Свиридов. Прокаженному можно.

– Я ему скажу, – пообещал майор.

6

Свиридов успел на совещание по «Родненьким», где ничего не знали о его увольнении из «Экстры» и спокойно отдали в разработку две новые темы – инцест и похищение. Но история с Синюхиным получила неожиданное продолжение, которое и сделало Свиридова героем среди списочных или списанных, как сами они называли себя впоследствии. В понедельник «Наш день» напечатал сенсационный репортаж о том, что один из создателей культового телешоу собаками травил одинокого старика – из числа тех, для кого это шоу делается.

Воскресенье Свиридов провел с Алей, они с утра завалились в Парк культуры, потратили кучу денег, перекатались на всех горках и качелях Луна-парка, и сиюминутный радостный страх рухнуть с огромной лодки, летавшей над Москвой-рекой, вытеснил все остальные. Стреляли в тире, Свиридов близоруко мазал, Аля выиграла зеленого слона. Ели шашлык – как всегда, сырой и напоминавший о детстве, об эстраде Зеленого театра, на которой читал еще не сваливший Молоток, герой только народившегося слэма; странно, что они с Алей оба бегали сюда и друг друга не знали. Вот уже вторую неделю подряд во второй половине дня проливался стремительный теплый дождь, над красными песчаными дорожками поднялся пар, малышня радостно визжала в детских вагончиках, и Свиридов впервые за неделю поймал себя на том, что не чувствует вражды к обычным людям, не внесенным покамест в скорбные листы. Прежде он их ненавидел, а рядом с Алей это как-то отступало – то ли потому, что ее близость искупала пребывание в любых списках, то ли она, здоровая и счастливая, предстательствовала за всех здоровых и счастливых. Ладно, живите. Вдобавок она осталась у него. Расчувствовавшись, он чуть не выложил ей всю историю про список и мента, но рядом с ней все казалось такой ерундой, а жалобы – такой пошлостью, что Свиридов смолчал. Можно было когда-нибудь со временем рассказать ей эту историю в третьем лице, как собственный замысел: представь себе, любимая, человека, который попал в таинственный список и сразу выпал из всех остальных… Но она снова сказала бы что-нибудь про паранойю и про неумение замечать хорошее, а ему совсем не хотелось ругаться. Она была тихой и нежной, редко он видел ее такой, – рассказывала про детство, он не перебивал.

Утром она убежала на работу, пока он спал. Свиридова разбудил звонок Бражникова.

– Ты «День» читал? – поинтересовался он. У Бражникова была страсть к мерзостям, поэтому он читал «День» от корки до корки и помнил все про всех, хотя не верил ни одному слову ни в одной газете.

– Я «День» не читаю. А что?

– А напрасно! – протянул Бражников. – Там про вас!

Свиридов опять похолодел, как в машине у Сазонова.

Переход оказался резковат.

– Что про нас?

– Как ты пенсионера травил собакой!

Была еще надежда, что он шутит, – но Свиридов не рассказывал ему про старика, и взять эту сплетню Бражникову было неоткуда.

– Влип, влип, – торжествовал Бражников. – Натворил. Попал под лошадь.

– Что написано-то?!

– Сейчас прочитаю. – Бражников зашуршал газетой. Свиридову казалось, что он облизывается. – «Властители дум травят свой народ собаками». Это название. Подзаголовок читать?

Бражников садически растягивал удовольствие. Этот садизм тихих программистов был Свиридову давно знаком – видимо, долгое общение с машиной отбивало всякие человеческие ограничители вроде сострадания или стыда, а звериное оставалось в неприкосновенности. Неслышный Бражников еще в школе любил отрывать крылья бабочкам и с любопытством наблюдал, как они ползали.

– Читай, – спокойно сказал Свиридов.

Главное было – не вестись.

– «Сценарист патриотического сериала “Спецназ” и трогательного детского фильма “Девочка-танцовщица”…»

– «Маленькое чудо», – поправил Свиридов.

– Чего ты от них хочешь, им же в конторе запретили пользоваться инетом. Я знаю, у меня там мужик работает. Главный им сказал – ловите сенсации не из сети, а в жизни. Ловят в основном по милицейским участкам. Ну, читать?

– Да, давай.

– «Сценарист… бла-бла-бла… Сергей Свиридов в свободное от патриотизма время любит выгуливать своего огромного дога без поводка. Когда пенсионер Владимир Николаевич Синюхин, заслуженный медицинский работник с более чем тридцатилетним стажем, спасший жизнь тысячам людей, позволил себе сделать Свиридову тактичное замечание, разгневанный сценарист, крикнув “Фас!”, направил своего монстра прямо на испуганного старика. Многочисленные свидетели кинулись защищать старого врача и встали на пути у разъяренного страшилища. Создатель “Танцующей девочки” наблюдал за этой чудовищной сценой, засунув руки в карманы. Адвокат “Дня” предложил Владимиру Синюхину свои услуги. Такие, как Свиридов, должны быть наказаны жестко. Именно такие, как он, зазнавшиеся звезды регулярно избивают нашего фотографа Радия Николаева за любую попытку честно рассказать зрителю об их оргиях. Напоминаем, что месяц назад другая звезда “Спецназа” Михаил Побережный оторвал Николаеву пуговицу, и газета продолжает расследование этого эпизода». Дальше комментарии коллег. Читать?

– Это особенно интересно, – сказал Свиридов.

– Станислав Говорухин, народный режиссер: «Некоторые режиссеры и артисты считают, что имеют право пасти народы, а сами глубоко презирают свой народ и не знают его. Я понятия не имею, кто такой господин Свиридов, но, конечно, теперь ни одна собака не позовет этого собаковода в свой проект. У меня самого есть собака, но я считаю, что моя свобода заканчивается там, где начинается свобода соседа. На Западе никто не посмеет выгуливать свою собаку без поводка, и все владельцы обязаны подбирать за питомцами их, так сказать, изделия». Александр Новиков, народный певец: «Надо еще проверить, что за детскую порнографию он там навалял. Лично я – как советник народного депутата Крушеванова – непримиримо борюсь с детской порнографией и своими руками готов удавить любого, кто бла-бла-бла». Это он рассказывает свои подвиги, неинтересно. Владимир Кафельников, главный редактор студии «Экстра»: «Я рад сообщить читателям вашей газеты, с просмотра которой всегда начинаю мой день, что Сергей Свиридов больше не участвует в производстве сериала “Спецназ”. Я уже неоднократно делал ему замечания за внешний вид. Свиридов давно включен в список деятелей культуры, чье появление на телевидении не рекомендовано». Ты знаешь, Свиря, по-моему, для полного счастья они должны обозвать тебя бешеной лисой и провести митинг с требованием расстрела.

– Я этого и жду, – Свиридову все еще удавалось попадать в тон.

– Ну, ты в голову-то не бери. Они судятся каждый день и всегда проигрывают, но у них какой-то колумнист-чеченец, личный друг Кадырова, так что в лучшем случае печатают опровержение. Про тебя завтра все забудут, они вчера уже написали, что Гальцев жену побил. Ты же не круче Гальцева?

– Не круче. Я только думаю, как это от матери спрятать.

– Скупи тираж, – хохотнул Бражников. – Ну ты понял теперь, что это за список? Ты просто не рекомендован к телевидению.

– Список появился раньше. Ты ни хрена не понимаешь, Брага, а разговариваешь как умный. В любом случае – спасибо, что предупредил. Я учту.

Свиридов сел на подоконник, закурил и некоторое время существовал растительно. Нельзя дать катастрофе сразу проникать в себя, надо задерживать дыхание, как после удара под дых. Этому его учил инструктор рукопашного боя, с которым Свиридову приходилось беседовать ради очередной драки в «Спецназе».

Свиридов не считал себя трусом – хоть и отдавал себе отчет, что жизнь пока, слава богу, не подбрасывала ему особо жестоких проверок. Но он пасовал при встрече с непрошибаемым, монолитным хамством: всегда понятно, как вести себя с человеком, допускающим хоть тень сомнения в собственной правоте. Сам Свиридов всегда немного сомневался в своем праве тут быть, но предпочел бы не быть, чем родиться с непрошибаемой уверенностью в себе. Вероятно, люди только по этому принципу и делятся, все прочие разделения – лишь следствие: одни с рождения уверены, что им тут самое место, а другие всю жизнь оправдываются, тщатся доказать, что им сюда можно. Вторые ради самооправдания все время работают, а первые присваивают их труд, потому что им можно. Откуда взялись эти две расы – надо подумать на досуге, досуга будет много. Теперь он сделал что-то не так или просто обнаружил себя, и прирожденные владельцы всего сущего занимаются им прицельно. Их не устроят никакие извинения и покаяния, никакие отъемы имущества. Свиридова надо съесть целиком, без остатка, чтоб запаха не осталось. Что они перешли в наступление – заметно было давно; но кто их будет кормить? Ведь они ничего не умеют делать сами. Наверное, случился качественный прорыв, они научились

худо-бедно обеспечивать себя или приспособили наконец свои желудки к той топорной, шершавой, с примесью жмыха продукции, которую только и умели производить. Все остальное им больше не нужно, и от нас можно избавиться.

Катастрофа, никаких самоутешений. Человек, про которого такое написано, выпадает из реальности навсегда. Из профессии точно. Теперь Грега Стилсона не выберут даже в команду живодеров. Господи, что я такого сделал?! Выгуливал собаку без поводка. Нас убьют за то, что мы гуляли по трамвайным рельсам. Все предсказуемо. Конечно, можно судиться. Даже нужно судиться. Но каждый отчет о судебном процессе они будут сопровождать статьями о том, как я выплюнул жвачку перед входом в суд и тем оскорбил труд дворника, как посмел явиться в джинсах и тем оскорбить вкус народного заседателя…

Одно преимущество у всего этого есть: голый человек на голой земле. «Родненькие» теперь, конечно, побоку, причем навеки. Сценарист, травящий собаками свой народ, не имеет морального права делать народную программу. Возможно, этой теме будет посвящена очередная народная программа, на которой тихий очкарик попытается меня защитить, а толпа его затопчет. И очкарик, и толпа будут из мосфильмовской массовки. Еще неделю назад Свиридов побежал бы в редакцию, к адвокату, к черту, дьяволу, принялся бы требовать опровержений – успешный профессионал в своем праве; но теперь все его начинания были обречены. Надо было не рыпаться, а достойно принять крах. Это очень трудно. Но кто сказал, что должно быть легко? Да и что возражать: сама тяжесть навалившегося на него монолита была главным аргументом. Правда, в последнее время так давили всех, это было приметой стиля: что ж, оно даже и милосердней – не бросают догнивать, а размазывают сразу. Никаких иллюзий. Надо как-то подготовить мать, чтобы хоть не обухом по голове. Но готовить мать ему не пришлось – зазвонил мобильный.

– Сережа, – сказала мать страшным хриплым голосом. – Ты видел?

– Мама, я видел и ничего другого не ждал. Это их нормальная практика.

– Откуда они знают, Сережа?!

– Ну, господи, они же мне не докладывают. Они даже не связались со мной. Может, этот старик им настучал. Им же нечем заполнять газету, а выдавать какую-то дрянь надо ежедневно. Артисты закончились, они взялись за

сценаристов.

– Но ты же теперь не сценарист! – закричала мать. – Они выгонят тебя! Ты читал?!

– Мама, это все брехня. Ты прекрасно знаешь. Никто бы не выгнал меня за такую ерунду. Я уже звонил на «Экстру», там всё знают и готовят иск. – Он врал спокойно, уверенно и в процессе вранья успокаивался сам.

– Но я не могу теперь выйти из дому! Мне принесла соседка, теперь знает весь подъезд…

– Мама, что я могу сделать? – устало сказал Свиридов.

Мать почувствовала слабину и тут же воспламенилась:

– Я не знаю, что ты можешь сделать! Чем ты думал, когда выпускал собаку без поводка?! Господи, почему это все с нами?!

А в общем, спокойно подумал Свиридов, эта уверенность, что весь мир против нас, ничем не хуже моей. Что унаследовал, так это затравленность. Понять бы еще, кто это нас так затравил.

– В любом случае они дадут опровержение, – вставил он в первую же паузу.

– Да что мне их опровержение! Я в подъезде его вывешу? Ты понимаешь, что на нас теперь все будут показывать пальцами?! Они отравят Белку!

– Мама, я могу тебе предложить только переехать сюда. Извини, я сейчас буду разруливать как-то эту ситуацию, а обвинить меня во всех своих несчастьях ты сможешь в другой раз, ладно?

Это было жестоко, но вариантов у него не было. Конечно, он не собирался ничего разруливать, но предоставлять свежую рану для поливания уксусом тоже не хотел.

Он собрался было вернуться на подоконник, но затрезвонил городской.

– Серега! – Звонил Шептулин, былой соавтор по «Спецназу». – Серег, не бери в голову! Ты читал «День»?

Это было очень по-шептулински – сперва посоветовать не брать в голову, а потом поинтересоваться, в курсе ли собеседник.

– Да ты плюнь! – долдонил Шептулин, не слушая ответа. Он был, что называется, «хороший мужик», таких всегда все считают хорошими мужиками безо всяких оснований: рохля, неумеха, трепач, пьяница, когда-то подавал надежды (причем то, что ставилось ему в заслугу, тот первый сценарий или дурацкая первая постановка, было ниже плинтуса, просто на этом лежал отпечаток безопасной и безобидной шептулинской личности, и это сходило за человечность). Шептулинская доброта была глупой, халявной добротой алкоголика, и любили его именно за то, что он никому и ни в чем не был конкурентом. Писать он не умел ничего, кроме скупых мужских диалогов. Еще он любил авторскую песню и много времени проводил на слетах. Борода предполагалась сама собой.

– Плюнь! – повторял Шептулин. – Чего список, фигня все списки! У меня шурин в списке, и что? Они пишут, что это закрывает доступ на телевидение, а какое телевидение, когда он сантехник? Эта газета – тьфу, подтереться стыдно! Брось, Серег, не переживай.

– Стоп, – сказал Свиридов. – Погоди, Толя. Я не переживаю, но ты погоди. Чего ты сказал про список?

– Я говорю, у меня шурин тоже в списке каком-то! К нему участковый приходил, сказал – спустили список, а чего делать, не сказали. Ну и ничего не делают, может, это список ударников труда. Плюнь, Серег, я точно тебе говорю, это все хрень… Я к Кафелю сегодня пойду, вот веришь, нет, я точно к Кафелю пойду сегодня и скажу: «Брось, Кафель, ты что? Что ты за мужик, Кафель? У тебя такой парень работает, а ты его после первого окрика на улицу?!» Не бери в голову, Серег, я сегодня пойду…

Конечно, он никуда не пойдет и ничего не скажет. От другого человека сочувствие было бы даже приятно, оно развеяло бы этот морок и доказало Свиридову, что хоть в чьих-то глазах его жизнь оправдана. Но Шептулин с его халявной добротой, мягкой седеющей бородой, идиотской улыбкой во всю широкую рожу, многодетной семьей, подпевающей под гитару женой и полной

неспособностью ни к одному делу был явно не тем персонажем, чьи соболезнования сегодня добавили бы Свиридову сил. Если он уже черпает силы в состраданиях Шептулина – это может означать только то, что он окончательно перешел в разряд таких же лузеров, а с этого дна подъемов не бывает.

– Подожди, Толя. Мне важно про шурина. Как он в списке, откуда?

– Да я не знаю, тебе лучше с Ленкой поговорить. Котён! Сейчас все скажет.

И, не спрашивая, хочет ли Свиридов разговаривать с Ленкой, он сунул ей трубку.

Ленка была еще хуже Шептулина – она понимала причины народной любви к нему, отлично знала ей цену и умела пользоваться. Разговаривала она жалким, причитающим голосом, но стоило собеседнику расслабиться и пожалеть семью, она вворачивала что-нибудь едкое, недвусмысленно намекающее, что именно благодаря таким, как некоторые, талантливый человек и его дети прозябают в нищете. Шептулин тут же подмигивал собеседнику и осаживал жену, но осаживал так – ладно, Котён, не бери в голову, что мы, плохо живем? – что полностью подтверждал ее слова. Всякий немедленно начинал чувствовать себя должником Шептулиных, у них это было отлично поставлено. Слово «Котён» Свиридов ненавидел отдельно.

– Да, Сережа, – сказала Лена.

– Лен, извини, там Толя говорил про шурина…

– Да, я слышала. Ты что, тоже в списке?

– Вроде да.

– Не парься. Это знаешь что, я думаю? Это что-то налоговое. У Юрки приработок, он от «Аманды» унитазы ставит. Думал, они задекларировали, а они думали, что он. Он сейчас доплатил, ему в налоговой сказали, что претензий нет, потому что сам пришел.

– А с чего ты взяла, что я не доплачиваю? – спросил Свиридов. Чем такое сочувствие, лучше полное одиночество.

– Ну откуда я знаю, я предположила просто… Что злиться-то сразу?

– Я не злюсь, Лена, извини, пожалуйста, если я был резок. – Свиридова понесло, он не мог остановиться. – Ради бога, прости. Я приношу тебе глубочайшие извинения. Пожалуйста, извини меня, если можешь…

– Сереж, что случилось-то? – спросила она уже сочувственно.

– Случилось то, что газета с полумиллионным тиражом написала, что я травлю людей собаками и попал под запрет на профессию. Больше ничего не случилось.

– Да какой запрет, брось, все выяснится…

– Все уже выяснилось. Ты мне дай просто его телефон…

– Да пиши, – и она продиктовала домашний номер где-то в Чертанове. – Может, правда тебе с ним поговорить, вместе вы как-то…

Тут у Свиридова зазвонил мобильник, он суетливо попрощался и глянул на монитор. Звонил Рома Гаранин, создатель «Команды».

– Здоров, Свиридов, – сказал он хмурым басом. – Ты это… резких движений не делай, ага?

– Чего случилось, Ром?

– У меня с этим «Днем» своя история, – сурово продолжал Рома. – Они у меня живы не будут, это я тебе говорю. Ничего пока не делай, до завтра подожди. Вот увидишь.

– А тебе-то что они сделали?

– Неважно. Замучаются опровержения давать. Я прямо к ним сейчас еду. Ничего не делай.

– Ладно, это хрен с ним. Я сам тебе хотел звонить – со «Спецназа»-то я действительно слетел.

– Ну слетел и слетел, давно пора. Что, ты работу не найдешь?

– Найду, но если мимо тебя вдруг чего поплывет… – Свиридов с отвращением почувствовал, что заискивает.

– Ладно, – буркнул Рома и отключился.

Шептулинскому шурину Свиридов позвонил сразу. Тот оказался дома и выразил готовность с ним встретиться, но только в своем районе.

– Я отъезжать не могу. Напарник в отпуске, если срочный вызов – все на мне.

– Хорошо, я подъеду. Куда?

– Метро «Южная», – начал диктовать сантехник. Голос у него был ровный, манера сдержанная, и Свиридов тоже подобрался: слушают их теперь наверняка. Черт бы драл Лену с ее налоговыми догадками. Доходы с «Родненьких» он действительно не декларировал.

Ехать до Юры оказалось недалеко – интересно, в список попал только Юго-Запад или еще кто-нибудь? Худой серый Юра ждал его во дворе, домой не пригласил.

– Лучше тут, – сказал он, не входя в объяснения.

– Я так понял, у нас с вами общая проблема.

– Можно и так сказать, – уклончиво согласился Юра.

– А как еще сказать? Вы тоже допускаете, что это список на поощрение?

– А кто так говорит?

– Муж сестры вашей, я не знаю, как это называется.

– Деверь, – сказал Юра. – Ну, он вообще блаженный.

– Не такой уж блаженный, но ладно. Сами-то вы как думаете – действительно налоговая?

– Да ну, налоговая, – сказал он. – Будут они из-за двух рублей…

– Именно из-за двух рублей и будут. Из-за миллиона им стремно.

– Да нет. Я думаю, это список не за что-то, а для чего-то, – сказал сантехник и посмотрел на Свиридова с хищным интересом.

Вот такие-то, серые и стертые, всегда и сходят с ума. Не какие-нибудь творцы, богема и пьяницы, а такие тихие. Приходит однажды на работу со сковородкой, надетой на голову – от инопланетных волн, внушающих ему, что он должен сейчас, немедленно купить двенадцать плавленых сырков «Дружба».

– Почему вы так думаете? – ровно спросил Свиридов.

– А иначе они не стали бы в интернете размещать, – с готовностью пояснил Юра. – Там же абы кто не может разместить, правильно?

– Как раз может абы кто. А что там в интернете?

– А вы что, не были? Вэ-вэ-вэ список сто восемьдесят народ ру. Как же вы не знаете?

– А вы откуда знаете?

– Парень мой нарыл, – с гордостью признался Юра. – Рубит в этом деле, как я не знаю. В поисковик какой-то запостил – «список», и просмотрел все новости. Вторая новость как раз и оказалась. Там про нас целая история. Приглашают записываться.

– Почему приглашают? – опешил Свиридов.

– Ну, это завели те, кто попал. Чтобы собрать остальных.

– И что сделать?

– Это я не знаю, что сделать, – посуровел Юра. – Но уж не просто так, это точно.

– И как, вы записались?

– А то, – сказал Юра. – Как иначе? Надо же вместе держаться.

– Но почему им тогда сразу всех не собрать?

– О! – Юра поднял палец. – То-то и оно! Почему всех не собрать? Потому что соберутся только те, кто сами откликнутся. Это отбор.

– Но ведь я, например, узнал от вас…

– Но ведь вы меня нашли, так? Это значит – уже какая-то оперативность.

– И что, мне теперь записываться там… на сайте?

– Это ваше дело, – сдержанно сказал Юра. Но ясно было, что любой, кто уклонится от записи, будет им рассматриваться как дезертир.

– Ладно. Спасибо.

Они пожали друг другу руки, и Свиридов уселся в «жигуль». Он уже выезжал на Симферопольский, когда затрезвонил мобильник.

– Сергей Владимирович! – приветствовал его суетливый секретутский голосок. – Вас беспокоит газета «Наш день». Мы вас очень просим, примите, пожалуйста, наши извинения, мы завтра же опровергнем и, если вы не возражаете, очень-очень хотели бы сделать с вами большое интервью, чтобы все расставить по местам. Пожалуйста. Мы очень-очень хотим, просим вас не отказать…

– Я не хочу с вами встречаться, – мрачно сказал Свиридов. – Напечатаете опровержение – поговорим.

– Да-да, завтра-завтра, – она говорила с интонациями сорокалетней пресс-секретарши, не пустившей Свиридова получать приз за «Чудо». – Обязательно-обязательно, мы сразу-сразу вам позвоним…

Свиридов отключился. Чудеса не прекращались. Каких кар наобещал им Гаранин? Дома он взлетел на свой пятый этаж, вошел в сеть и, всеми силами стараясь бог весть перед кем выглядеть спокойным и неторопливым, набрал www.spisok180. narod.ru.

Часть вторая

Опись имущества

1

«Дорогие друзья!

Все мы попали в список. Его цель и происхождение нам неизвестны. Чтобы выжить в этой ситуации, нам лучше держаться вместе. Просим откликнуться всех, кому уже сообщили о занесении. Убедительная просьба к посторонним: не записываться. Нам очень важно восстановить список целиком, что позволит догадаться о его настоящей цели. Оставьте ниже свои ФИО и контакты. Можете указать возраст, это существенно. Первая встреча списка планируется в последней декаде июля. Новости смотрите в разделе “Новости”.

С уважением,

Бодрова Светлана Викторовна, контактный телефон…»

СПИСОК

Карнаухов Игорь Владимирович, 1967 г. р.

Семенова Надежда Григорьевна, 1958

Саломатин Николай Михайлович, 1941

Голышев Кирилл, 1990

Бурцева Елена Даниловна, 1972

Матвеева Ирина, 16 лет

Сергей Шевченко, 23

Святослав Владимирович Мирский, 1955

Лурье Григорий Наумович, 1959

Кротов Константин Михайлович, 1948

Носкевич Галина, 19…

Тенденция не просматривалась.

Свиридов глубоко вздохнул и добил в белый прямоугольник внизу: «Свиридов Сергей Владимирович, 1979».

Из пятидесяти семи записавшихся нашелся один ровесник – Парамонова Елена Максимовна. Хорошо, что девушка. Вероятно, список составлен с целью подобрать для всех идеальные пары. Скрестить сорокавосьмилетнего семита

Лурье – вероятно, лысина, усы, трубка, скепсис – с белокурой белоруской Носкевич, 19. С виду робкая, в постели неожиданно страстная, готовит, стирает, ревнует. У Лурье московская прописка, у Носкевич неутомимая детородность, потомство лысое, страстное, скептическое, стирает. А мне ровесницу Парамонову, всегда любил ровесниц. Он помедлил, подведя курсор к слову «Добавить» справа от белого прямоугольника. Заносить себя в список, даже на бронь в кинотеатре, всегда страшновато: клик – и на тебя начали распространяться чужие закономерности. Бодровский список больше всего напоминал жуткие расстрельные перечни, публиковавшиеся в «Вечерке» обществом «Мемориал» в начале девяностых, или отчеты о немецких карательных операциях, – но в любом списке есть обреченность: узнан, вычислен, учтен. Если перечень товаров в интернет-магазине так и дышит сытостью и благостью – кого хочешь выбирай, все счастливы себя предложить в реализацию, – любой человеческий перечень, даже список принятых абитуриентов, отдает хлоркой. Ужасна одушевленность. Но ничего не поделаешь, все в списках от рождения. Он кликнул и добавился пятьдесят восьмым.

2

Бодрова Светлана Викторовна предусмотрела на сайте три раздела: главный, новости и форум. На форуме обсуждались версии. Их разброс поразил Свиридова.

При первом веянии свободы – на форуме не обязательно было выступать под собственным именем, допускался ник – все радостно попрятались за псевдонимы. Хлебом человека не корми, дай сбежать от себя. Он все надеется, что Карнаухов Игорь Владимирович умрет, а Pesik останется. Впрочем, под Песиком наверняка скрывался кто-нибудь помоложе. Под собственными именами выступали только те, кто придавал своим мнениям особое значение: это сказал именно Галантер, именно Стариков, никто иной. Форум был создан недавно, меньше недели назад, и высказаться успели немногие; завелись свои завсегдатаи, особо активные персонажи, неустанно извлекавшие из реальности новые подтверждения своих догадок. Было бы естественно предположить, что Лурье объявит все происками кровавой гэбни, но эта концепция активней всего отстаивалась девушкой под ником Whiterat. Белая Крыса была убеждена, что каждый в списке как-нибудь досадил властям, только не признается. За собой

она знала немало прегрешений – например, добровольное участие в первом марше несогласных. Она, по ее свидетельству, просто шла и вручала ОМОНу цветы. Здесь же размещалась фотография – невысокая Крыса в бежевом плаще, снятая со спины, раздает хризантемы типа «дубки». Неудивительно, что ее сразу поментили. В автобусе с другими задержанными распевала «От улыбки хмурый день светлей». Никто, правда, не подпевал. В том, что Белая Крыса выбрала такой ник, отразилась вся ее натура: ей нравилось любить то, чего все боятся, и всячески это демонстрировать. Кровавая гэбня ей была необходима, как воздух. Она не мыслила жизни без кровавой гэбни. Ей убедительно возражал Пахарь, он же Пахарев, 1969 года выпуска: Пахарь упрекал Крысу в трусости и поиске происков, в то время как список, думалось ему, не репрессивная мера, а попытка отобрать достойнейших, дабы в скором времени всех обеспечить деликатным заданием. Его идея была отчасти сродни заморочке шурина Юры, свято уверенного, что его не назначили в изгои, а избрали в спасители. «Мы здесь для того, чтобы действовать сообща», – уверял Пахарь. Цыганка Аза была почему-то уверена, что все участники списка виновны в сокрытии доходов, хотя лично за собой не знала такого греха; ее дискурс был наиболее показателен – она точно знала, что попала в список по ошибке, но знала и причину этой ошибки. Дело в том, что она позже, чем надо, подала налоговую декларацию, надо было до 30 апреля, а она из-за праздников подала только 10 мая; но, видимо, список неплательщиков был сформирован до праздников и его не успели исправить, хотя теперь исправят обязательно. Ей советовали сходить в налоговую и проверить догадку, и она обещала в ближайший четверг – налоговая в их районе работала по сложному графику, да и сама она, малый предприниматель, была занята по суткам. Старый Мельник предположил, что главная цель списка – коль скоро большинство обнаружило себя в нем при пересечении границы – заключалась в принудительном удержании дома наиболее талантливых людей, представляющих ценность для отечественной науки; объяснить пребывание в списке шестнадцатилетней балбески Матвеевой он не мог, но, может, она хорошо училась? Сама Бодрова, 1951, организатор и вдохновитель всех наших побед, предполагала, что в список внесены наиболее очевидные кандидаты на льготы и теперь за ними наблюдают на предмет соответствия параметрам: действительно ли они так бедны или могут потерпеть? Бодровой было пятьдесят шесть, она страдала гипертонией и диабетом, работала бухгалтером, жила с дочерью и при ее помощи оборудовала сайт; непонятно было, почему она выбрала говенно-морковный фон, тревожный, как ноябрьская заря. Ей аргументированно возражали прочие списанты (кроме этого самоназвания, были еще «списанные», «списочники», «листеры» и один раз «контингент»): никто из них не нуждался в государственной помощи. Обеспеченные люди, ты что.

Свиридов листал форум и возвращался к списку на главной странице, ловя себя на стыдноватой радости: он не один, те же проблемы как минимум у пятидесяти семи сограждан, и число их росло ежедневно, ибо до ста восьмидесяти оставалось еще много. Правда, к радости примешивалась легкая брезгливость, будто высморкался в чужой платок или посидел в сортире, хранящем чужие газы. Свиридов был с детства болезненно щепетилен во всем, что касалось гигиены. Это не у листеров были его проблемы, это у него оказался их микроб, общая инфекция – и разделять с двумя сотнями сограждан их ужас и любопытство было так же противно, как соприкасаться с их шубами в метро. В его жизнь властно влезли сто восемьдесят человек, пятьдесят семь из которых уже обрели лица и имена. Свиридов был теперь уже не сам по себе, но один из них, – и это было самое противное; если ты умираешь в чумном бараке, под стоны сотни себе подобных, – ты не так прожил жизнь. Чем отдельнее от всех становишься, тем правильней вектор; лучшая смерть – та, которой вообще никто не увидел. Где-нибудь в горах, на леднике, среди снежной пустыни. Он с детства, с книг об освоении планеты представлял это так и завидовал. В некотором смысле и отцу повезло – его никто не видел мертвым, взял и избавил всех от себя, чего лучше?

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/bykov_dmitriy/spisannye

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити